

Валерий  
Михайлов

## ЭЛИЗИЙ ЗЕМНОЙ

(Книга о Евгении Боратынском)

Глава двадцать первая  
БОКАЛ УЕДИНЕНЬЯ

Путём последнего поэта

Голос свой – он ещё *возвысил*; струн – *не утаил*...

По возвращении в Москву весной 1834 года Боратынские озабочены обучением и воспитанием подрастающих детей. Поздравляя маменьку с днём именин, поэт замечает, что всё последнее время у них множество хлопот с учителями, с гувернёрами и гувернантками, что очень трудно подыскать приличного педагога: никто не умеет даже заточить перо... Что до московской жизни, то она так однообразна, так глупа, что «удовольствия можно получить только от безоблачных небес» (*перевод с французского*).

С небрежной иронией он пишет и о *свете* – и вдруг замечает: «<...> Новых книг нет. Словесность *во всех странах* истощена <...>» (курсив мой. – В. М.).

Боратынский давно – с начала 1820-х годов – замечал, как «торговой логики смыслённый приговор» начинает всё больше властвовать в журналистике, в словесности, в искусстве. В первое время он легко высмеивал в эпиграммах «делового человека», потом не на шутку встревожился завоеваниями торгашеского духа, проникающего повсюду. «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом. Согласитесь, что это довольно грустно», – писал он поэту И. И. Козлову в январе 1825 года.

Со времён Кантемира и Ломоносова, русская литература уже обрела большую силу, а критика только зарождалась, не поспевая за ней. Писателям приходилось самим создавать литературную критику: статьи и заметки писали Батюшков, Жуковский, Гнедич, Вяземский, а больше и лучше других – Пушкин. Для них, аристократов по происхождению и по духу, бескорыстных служителей искусства, была совершенно неприемлема логика дельцов от словесности. Причём своим происхождением писатели-дворяне хотя гордились, но отнюдь не кичились, – и

Окончание. Начало в № № 10-12, 2014; № 1, 2015.



тут образцом поведения в литературе был Александр Пушкин, как-то сказавший: «<...> Имена Минина и Ломоносова вдвоём перевесят, может быть, все наши старинные родословные <...>».

Пушкин одним из первых заметил ту опасность, которую привносили с собой в культурную и духовную жизнь народа представители напористого «третьего сословия» – дельцы, опошляющие высокие идеи. «Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне она вшивый рынок», – сказал он в письме к М. П. Погодину весной 1834 года. Двумя годами позже в статье «Джон Тернер» Пушкин, исследуя «плод новейшего просвещения» и нравы в процветающей Америке, пророчески заклеил душок нового времени: «<...> С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант из уважения к равенству, принуждённый к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленной перед нами».

Боратынский в одно время с Пушкиным понял, какие разрушения несёт наступивший век: грядущее сулило гибель – и поэту в мире и лучшему в самом человеке.

Поэзия была для него – душой жизни; что же за жизнь без души?..

Большое, необычное по форме, стихотворение «Последний поэт» стало его откликом на самые тревожные думы, – оно, веющее дыханием нравственного апокалипсиса, за которым незамедлительно последует и настоящий конец света, вместило в себя и древность и новейшую эпоху, и реальность и мечту, и осмысление былого и предвиденье грядущего.

Век шествует путём своим железным;  
 В сердцах корысть, и общая мечта  
 Час от часу насущным и полезным  
 Отчётливей, бесстыдней занята.  
 Исчезнули при свете просвещения  
 Поэзии ребяческие сны,  
 И не о ней хлопочут поколенья,  
 Промышленным заботам преданы. <...>

Глубокая ирония, пронизывающая эти строки, так безнадежна, так тяжела и горька, что уже перестаёт быть сама собой, а изменяет качество на что-то несравненно более важное, значительное, действующее на душу больше, нежели на разум. Это – литое, выстраданное слово пророка, видящего сущность происходящего в мире и выражающего её с мужественной прямоотой – как то, что необходимо знать всем, чтобы не заблуждаться впредь. «Насущное и полезное» – *бесстыдно*, коли в сердцах корысть; «свет просвещения», при котором исчезает детская чистота поэзии, – *тьма*, притворившаяся светом; а раз так, то «поколенья» хлопочут, не зная того, о собственной гибели.

Для ликующей свободы  
Вновь Эллада ожила,  
Собрала свои народы  
И столицы подняла;  
В ней опять цветут науки,  
Носит понт торговли груз,  
И не слышны лиры звуки  
В первобытном рае муз! <...>

*Эллада* появляется не случайно: это родина Гомера, отчизна первобытной, ничем не замутнённой поэзии, – оттого и ритм стихотворения меняется... Но и эта святая земля нынче промышленяет, считает, торгует, и звуки лиры здесь больше не слышны.

Блестит зима дряхлеющего мира,  
Блестит! Суров и бледен человек;  
Но зелены в отечестве Омира  
Холмы, леса, берега лазурных рек.  
Цветёт Парнас! Пред ним, как в оны годы,  
Кастальский ключ живой струёю бьёт;  
Нежданный сын последних сил природы,  
Возник поэт: идёт он и поёт.

Воспевает, простодушной,  
Он любовь и красоту,  
И науки, им ослушной,  
Пустоту и суету:  
Мимолётные страданья  
Легкомыслием целя,  
Лучше, смертный, в дни незнанья  
Радость чувствует земля. <...>

Один поэт – не изменился и верен себе, своему назначенью. Одному ему ведома *пустота и суета науки*, обольстившей душу человека фальшивым знанием, где жажда пользы – материального благополучия и комфорта – самодовольно уничтожает радость, любовь и красоту. Потому-то и человек сделался «суров и бледен»...

А поэт простодушно поёт «поклонникам Урании холодной» – поклонникам науки – «благодать страстей»: ведь только чувства пробуждают в сердцах жизнь; поэт призывает верить «сладким убежденьям / Вас ласкающих очес / И отрадным откровеньям / Сострадательных небес».

Суровый смех ему ответом; персты  
Он на струнах своих остановил,  
Сомкнул уста вещать полуотверсты,  
Но гордя главы не преклонил;  
Стопы свои он в мыслях направляет

В немую глушь, в безлюдный край, но свет  
Уж праздного вертепа не являет,  
И на земле уединенья нет! <...>

*Железному веку* не покорна лишь *стихия* – «море синее одно»: со времён Аполлона, «И свободно, и просторно, / И приветливо оно <...>». Стихии, породившей Афродиту, возвращает себя поэтесса Сафо, с Левкидовой скалы бросаясь в волны и там погребая «отверженной любви несчастный жар», – в стихии и поэт, «питомец Аполлона», погребёт

Свои мечты, свой бесполезный дар! <...>

А человек, с чем же он остаётся на земле, где поэзия уже никому не нужна?..

И по-прежнему блистает  
Хладной роскошью свет:  
Серебрит и позлащает  
Свой безжизненный скелет;  
Но в смущение приводит  
Человека вал морской,  
И от шумных вод отходит  
Он с тоскующей душой!

*Свет* – обездушел; *скелет* – сколько его ни серебри, ни позлащай, он отныне безжизненный остов.

Человеку остаётся лишь тоска по утраченной настоящей жизни...

Стихотворение «Последний поэт» было напечатано в первом номере нового литературного журнала «Московский наблюдатель» в феврале 1835 года. Этот журнал создали лучшие тогдашние литераторы: И. Киреевский, Н. Павлов, Н. Языков, А. Кошелев, Н. Мельгунов, А. Хомяков, М. Погодин, П. Чаадаев, С. Шевырёв, Д. Свербеев – в надежде отстоять русскую словесность в чистоте и силе от мутного вала коммерческой псевдолитературы. После запрещения «Литературной газеты» и журнала «Европеец» «Московский наблюдатель» стал в Москве последним оплотом борьбы с литературными дельцами. В нём печатались А. Пушкин, Н. Гоголь, П. Вяземский.

Евгений Боратынский был одним из создателей журнала: вновь поддержал собратьев по слову, хотя ещё не отошёл от недавних катастроф и вряд ли уже верил в успех дела. Он всё больше отстранялся от словесных баталий, да и вообще от писательской жизни...

Первый номер нового журнала открывался статьёй Степана Шевырёва «Словесность и торговля», которая, по-видимому, задумывалась как программная, однако никакой глубоко продуманной стратегии не содержала. Критик лишь печалился о современном состоянии литературы:

«<...> Да, мой друг, торговля теперь управляет нашей словесностью – и всё подчинилось её расчётам; все произведения словесного мира расчислены на оборотах торговли; на мысли и на формы наложен курс!.. Умолкло вдохновение

наших поэтов. Поэзия одна не покоряется спекуляции. В то счастливое время, когда каждый стих расценён в червонец, стихи нейдут!.. Тщетно книгопродавец сыплет перед взором поэта звонкие, блестящие червонцы: не зажигается взор его вдохновением. Феб не внемлет звуку металла... Почему же поэзия молчит среди этой осенней ярмарки? Потому, что только её вдохновение не слушается расчёта: оно свободно как мысль, как душа <...>».

Гоголь в своём обзоре журнальной литературы трезво рассудил, что коль скоро читателей становится больше, то и сама литература превращается в предмет торговли, а тут «<...> всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики ещё простоваты, выигрывают больше купцы оборотистые и пронырливые».

«Покупщики» – читатели, действительно, ещё были *простоваты*, то есть глупы: успех стихов Бенедиктова в 1835 году затмил поэзию Пушкина. Чтиво пользовалось бешеным спросом: тираж «Библиотеки для чтения» Сенковского в десять раз превосходил пушкинский «Современник». Вяземский с горечью замечал, что век Карамзина и Дмитриева сменяется веком Сенковского и Булгарина...

Боратынский в «Последнем поэте» не предавался романтической, в духе Шевырёва, *печали*: он поставил жёсткий диагноз *времени*. С предельным мужеством, безоглядностью и глубиной он выявил мировоззренческий кризис новой, материалистической эпохи, единственный кумир которой – выгода, *польза*. *Железный век* прямо и скоро движется к бездне, и человек предчувствует свою гибель, заранее тоскуя. Он предал собственную душу – а поэт, хоть и обречён, но «гордые главы не преклонил», остался несломленным. *Последний поэт* отдаёт себя с т и х и и – первородной божественной свободе и твёрдо знает: дух его – победил!..

Боратынский, наверное, и сам себя ощущал *последним поэтом*, когда намеревался, после выпуска полного собрания стихов, навсегда «оставить перо». Дар, не ищущий пользы *железного века*, живущий сам собою и для самого себя, – *беспользный дар*.

В «Последнем поэте» Боратынский доводит до логического конца, а прямо говоря – до апокалиптического исхода, пушкинскую тему *поэта и толпы, поэзии и пользы*. В 1828 году Александр Пушкин написал стихотворение «Чернь» (в 1836 году, собирая книгу, он дал ему новое название – «Поэт и толпа»), в котором, в предчувствии наступающего *железного века*, первым из русских поэтов прямо и остро ответил на его вызовы. В этом произведении «народ непосвящённый», бессмысленно внимая поэту, поющему свою песнь, вопрошает певца:

<...> Какая польза нам от ней? <...> –

на что поэт даёт «черни тупой» свою гордую отповедь:

Молчи, бессмысленный народ,  
Подёнщик, раб нужды, забот!  
Несносен мне твой ропот дерзкий.  
Ты червь земли, не сын небес;  
Тебе бы пользы всё – на вес  
Кумир ты ценишь Бельведерский.  
Ты пользы, пользы в нём не зришь.

Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?  
 Печной горшок тебе дороже;  
 Ты пищу в нём себе варишь. <...>

Тогда «бессмысленная толпа» требует от поэта другой *пользы* – блага нравственного поучения.

П о э т

Подите прочь – какое дело  
 Поэту мирному до вас!  
 В разврате каменейте смело:  
 Не оживит вас лиры глас!  
 Душе противны вы как гробы.  
 Для вашей глупости и злобы  
 Имели вы до сей поры  
 Бичи, темницы, топоры;  
 Довольно с вас, рабов безумных!  
 Во градах ваших с улиц шумных  
 Сметают сор – полезный труд! –  
 Но, позабыв своё служенье,  
 Алтарь и жертвоприношенье,  
 Жрецы ль у вас метлу берут?  
 Не для житейского волненья,  
 Не для корысти, не для битв,  
 Мы рождены для вдохновенья,  
 Для звуков сладких и молитв.

Заметим:

<...> Мы рождены для вдохновенья <...> –

поэт – ещё не одинок, у него есть собратья по лире, и вместе они сила, противостоящая тупой черни.

У Боратынского же – *последний* поэт. Железный век, с его «насущным и полезным», одолел ненужную ему поэзию: человек отказался от своей души ради пользы тела.

Читал ли Пушкин «Последнего поэта»? Вполне вероятно, хоть и никак не отзывался о нём...

В «Памятнике» («Я памятник воздвиг себе нерукотворный...»), написанном в 1836-м, годом позже издания «Последнего поэта», есть такие, всем известные строки:

<...> И славен буду я, доколь в подлунном мире  
 Жив будет хоть один пиит. <...>

Стало быть, Пушкин допускал и возможность того, что когда-нибудь в мире может остаться только один – *последний* – поэт. Не переключка ли это с видением Боратынского?..

...За несколько лет до этого, 5 августа 1832 года, их старый друг, Вильгельм Кюхельбекер, томившийся тогда в заключении в тюрьме Свеаборга, записал в своём дневнике: «<...> Замечания Скотта о его подражателях очень справедливы и оправдываются тем, что испытал и наш Пушкин. Люди с талантом, не одинаковой степени, но всё же с талантом, – Баратынский, Языков, Козлов, Шишков младший, – и другие, вовсе без таланта, умели перенять его слог; до Пушкина, правда, никто из них не дошёл, но все и каждый порознь нанесли вред Пушкину, потому что публике наконец надоел пушкинский слог».

В слоге ли только дело?..

И что такое, по сути, *подражания* – коли истинный поэт берёт у другого только своё – то, что у него *уже* есть?..

Поэзия, она и перекличка слога, но ещё больше – перекличка заветных мыслей, догадок, прозрений, интонаций. Поэзия – общение душ во времени и в пространстве, и каждая душа, как ни перекликается с другой, остаётся неповторимой...

Современники Боратынского никак не отозвались на «Последнего поэта». Прошли долгие годы, прежде чем это стихотворение было по достоинству понято и оценено.

В 1883 году исследователь И. И. Ханенко написал:

«Баратынский предугадывал наступающую эпоху промышленной и торговой деятельности, вслед за которою у нас настала эпоха грубого материализма. Он как бы предузнал, что недалеко то время, когда один из корифеев молодого поколения во всеуслышание провозгласит, что всякий сапожник выше Шекспира и Пушкина».

Критик и философ С. А. Андреевский, спустя пять лет, заметил о начальной строфе «Последнего поэта», что она «точно вчера написана».

Позже поэт Валерий Брюсов выразился ещё определённое:

«Баратынскому суждено было предварять свой век. Он воистину был пророком... Его жалобы, что “век шествует путём своим железным”, относятся как бы к годам едва минувшим».

Гейр Хетсо, посвятивший жизни и творчеству Боратынского замечательную книгу, считает, что это стихотворение было предупреждением поэта не только своим современникам, но «<...> в высшей степени и своим потомкам <...>». Оно «<...> явилось необычайно резким выпадом против материалистического духа, развивавшегося в условиях современного капиталистического общества. Этот дух всё усиливался по мере того, как XIX век продолжал шагать по своему “железному пути”. <...> стихотворение “Последний поэт” можно без всяких натяжек воспринять, как своего рода поэтическую иллюстрацию к некоторым сторонам учения молодого Маркса об “отчуждении” человека. <...> Человек отчуждён от самого себя и своего внутреннего мира. Жажда наживы, или *корысть*, как говорит Баратынский, проникла во все проявления жизни общества и владеет ими безраздельно. Стремление к приобретательству, стремление к тому, чтобы *иметь*, перешло в наваждение, которое, всё извращая, разрушает самую способность человека *быть*».

Понятие *отчуждение* уже давно стало ключевым в современной западной социологии, философии и поэтическом творчестве. Со временем стало ясно, что картина болезни современного общества, представленная молодым Марксом и иллюстрированная хотя бы в “Последнем поэте” поздним Баратынским, актуальна и действительно также и в наши дни».

Уточним лишь, что Боратынский никого не «иллюстрировал» – а выражал свои заветные мысли. Что до «актуальности», то диагноз поэта, поставленный эпохе, с годами только действительнее.

### Вторая книга стихов

Лето и осень 1834 года Боратынские провели в деревне, а в канун зимы возвратились в Москву.

В январе 1835 года Боратынский купил двухэтажный каменный дом близ Арбата, в приходе церкви Спиридония, на Большой Спиридоньевской улице. С той поры они зажили в Москве, на лето выезжая в одно из поместий, чаще всего в подмосковное Мураново.

Семья росла: после третьей дочери Софии, родившейся в начале 1834 года в Маре, в конце 1835 года на свет Божий появился младенец Николай. 4 декабря его крестили; восприемниками стали дед Лев Николаевич Энгельгардт с сестрой Александрой.

Поэт был заботливым отцом, и родительских хлопот у него только прибавлялось, как, впрочем, и хозяйственных забот. «Последний месяц я провёл в больших волнениях, любезная маменька, – писал он летом в Мару. – Сначала разболелась Сашинька, и нам пришлось перебраться в Москву. Едва мы вернулись в Мураново, заболел Лёвушка, и притом преопасно – мы снова возвратились в город, и там долго тревожились за его жизнь. Слава Богу, нынче он поправляется, хотя ещё очень слаб. У него было ни больше, ни меньше, как воспаление лёгких. Сейчас я занят необходимыми починками в доме, который купил. Обходится это довольно дорого, но всё же мне больше повезло, чем многим из тех, кто совершает такие покупки. Я переделываю только мелочи. Правительство приказало проложить от Москвы до Ярославля дорогу: она пройдёт через принадлежащую нам деревню в Переяславском округе. Работы должны кончиться в два года. Это удвоит наши доходы и, главное, облегчит мне доставку в Москву великого строевого леса, какого в моём владении 150 арпанов. Прощайте, любезная маменька, целую ваши ручки, равно как жена моя и ваши внуки» (*перевод с французского*).

Домашние дела были так неотступны, что ради них иногда приходилось жертвовать товарищеским общением. В ту пору в Москву проездом заглянул Николай Гоголь, только что написавший новую комедию, которую позже он назвал – «Женитьба». Друзья устроили ему чтение в доме Погодина: Гоголь читал прекрасно. Был зван и Боратынский – но прийти не смог. Он отправил хозяину дома записку: «К крайнему моему сожалению, почтенный Михайло Петрович, должен я изменить данному слову и лишиться великого удовольствия быть у вас. Знаю, что я пропускаю случай познакомиться с новым произведением нашего весёлого и глубокого Гоголя, и несказанно сетую на встретившееся препятствие».

Тем летом с поэтом свёл знакомство юрист Пётр Григорьевич Кичеев, написавший, по просьбе Боратынского, жалобу от имени Настасьи Львовны по поводу земельных споров с соседями-помещиками в Казанской губернии. Впоследствии Кичеев вспоминал: «Мы с ним познакомились <...> через приятеля его, тамбовского помещика Николая Фёдоровича Стриневского <...>. – При первом же свидании Евгений Абрамович произвёл на меня невыразимое впечатление.

Его счастливая и симпатичная наружность, его скромный вид, тихая, умная речь сейчас же поселили во мне беспредельное к нему благоговение. <...> – На другой день приезжает ко мне Стриневский и говорит: – “Ну, брат, ты вчера сконфузил Баратынского”. – “Чем?” – спрашиваю. – “Тем, что при нём, хотя и про себя, читал его стихотворения, лежавшие у меня на столе!” – Вскоре приглашён был я Баратынским к нему обедать, в дом его, что на Спиридоновке <...>».

По-видимому, встреч больше не было, но знакомство продолжилось. Боратынский, – рассказывает Кичеев, – нашёл жалобу хорошо написанной, «он одобрял её в отношении слога и спрашивал меня, чрез Стриневского, сколько мне следует за труды? Получив в ответ, что от денег я отказываюсь, а желаю иметь в подарок его стихотворения, Баратынский прислал мне с Стриневским же свои стихотворения в отличном переплёте <...>».

Тут речь о книге «Стихотворения Евгения Баратынского», изданной незадолго до этого, в апреле 1835 года. В первой части книги были помещены стихи, во второй – поэмы.

Издание прошло почти незамеченным тогдашней литературной критикой: она уже давно охладела к Боратынскому. Впрочем, первый отзыв, вскоре по выходе книги, был сочувственным. «Библиотека для чтения» в безымянной рецензии писала о собрании стихов Боратынского, что в ней много страниц, написанных с пламенным чувством, глубокою мыслию. «<...> г. Баратынский – поэт элегический по преимуществу. Природа или обстоятельства дали это направление его несомненному таланту <...>. Этот мотив отзывается во всех его стихотворениях, даже весёлых, где поэт желал бы забыть свою обычную грусть. <...> Когда он выходит из элегий, он теряет всю свою силу и прелесть. Его эпиграмма не остра: она не колет, но тихо режет; его вакхические песни несколько принуждённы: заметно, что они сочинены; его мадригалы не льстят женского самолюбия: если бы мы были женщины, они бы скорее бесили нас тем презрением и холодностью, которых поэт не может скрыть даже под завесою угодливости и рифмованной любви. – г. Баратынский очень удачно оценивает Пушкина, Дельвига, Языкова, и если бы решился излагать свои мысли в прозе, он был бы замечательным критиком. <...> В музее его точно – необщее выражение лица и необычайная простота речей, но кто же, познакомившись с ней покороче, вздумает почтить её только небрежной похвалою? Мы полагаем, что в неё можно влюбиться, прочитав “Череп”, “Мадонну”, “На смерть Гёте” и многие другие стихотворения, из которых составлено её прекрасное ожерелье. <...> Мелкие стихотворения все – решительно все хороши; каждое замечательно или по мысли или по стиху. <...> “Бал”, “Пир”, “Переселение душ” читаются с наслаждением, но мы отдаём решительное преимущество мелким стихотворениям – в них более силы, более полноты, более мысли <...>».

Через полгода последовал другой отклик. Самый яркий из молодых «властителей дум», Виссарион Белинский, с нескрываемым пренебрежением писал в своих «Литературных мечтаниях»:

«Г-на Баратынского ставили на одну доску с Пушкиным; их имена были неразлучны, даже однажды два сочинения сих поэтов явились в одной книжке, под одним переплётом. <...> теперь даже и в шутку никто не поставит имени г. Баратынского подле имени Пушкина. Поэтическое дарование г. Баратынского не подвержено ни малейшему сомнению. Правда, он написал плохую поэму “Пир”,

плохую поэму “Эдда” (“Бедную Лизу” в стихах), плохую поэму “Наложницу”, но вместе написал и несколько прекрасных элегий, дышащих неподдельным чувством, из коих “На смерть Гёте” может назваться образцовой, несколько посланий, отличающихся остроумием. Прежде его возвышали не по заслугам; теперь, кажется, унижают неосновательно. Замечу ещё, что г. Баратынский обнаруживал во времена оны претензии на критический талант; теперь, я думаю, он и сам разуверился в нём».

Всё это не могло не коробить поэта, как и тех, кто знал истинную цену его поэзии.

Но что говорить о *молодых, да ранних*, если даже одна из «старых» звёзд пушкинской плеяды, Вильгельм Кюхельбекер, весьма заблуждался в своих оценках. В своём дневнике он записывал летом 1835 года: «<...> Марлинский – человек высокого таланта: дай Бог ему обстоятельств благоприятных! У нас мало людей, которые могли бы поспорить с ним о первенстве. Пушкин, он и Кукольник – надежда и подпора нашей словесности; ближайшие к ним – Сенковский, потом Баратынский».

Ставить на одну доску с Пушкиным велеречивого Марлинского, напыщенного Кукольника и болтливового *Барона Бромбеуса* – Сенковского и отодвигать при этом на задворки Боратынского – это больше, чем непонимание: это безвкусица. Кюхельбекера извиняет лишь то, что он сидел тогда в тюрьме и, скорее всего, многого не читал.

Белинский же был свободен и располагал всеми возможностями в чтении книг и журналов. Если ему что и мешало вполне знать, что же происходит в современной литературе, то лишь его собственные взгляды на неё. Они становились год от года радикальнее; самоуверенность возрастала куда быстрее, чем ум и восприятие поэзии. Даровитому критику весьма недоставало эстетической интуиции и душевной тонкости в понимании стихов, отчего его суждения порой грешили откровенной пошлостью, а оценки – ничем не оправданной грубостью. Так, в рецензии на новую книгу Боратынского в журнале «Телескоп» (октябрь 1835 года) Белинский, нимало не сомневаясь в своей правоте, писал:

«<...> Несколько раз перечитывал я стихотворения г. Баратынского и вполне убедился, что поэзия только изредка и слабыми искорками блестит в них. Основной и главный элемент в них составляет ум, изредка задумчиво рассуждающий о высоких человеческих предметах, почти всегда скользкий по ним, но всего чаще рассыпающийся каламбурами и блещущий островами. <...> перечтите все стихотворения г. Баратынского: что вы увидите в каждом из лучших? Два-три поэтических стиха, вылившиеся из сердца; потом риторику, потом несколько прозаических стихов; но везде ум, везде литературную ловкость, умение, навык, щегольскую отделку и больше ничего <...>».

«Замечательных» стихов в большой книге Белинский обнаружил всего-то ничего, около десятка, да и те показались ему хороши – только «по мысли», а так – «холодны». Все же стихи вообще – оставили в его душе «такое слабое впечатление, как дуновение уст на стекле зеркала: оно легко и скоропреходяще».

Следом 24-летний критик преподавал 35-летнему поэту поучительный и строгий урок:

«<...> В наше время, холодное, прозаическое время, надо в поэзии огня да огня: иначе нас трудно разогреть. – В числе необходимых условий, составляющих

истинного поэта, должна непременно быть современность. Поэт больше, нежели кто-нибудь, должен быть сыном своего времени <...>».

Разбор стихов предполагает если не любовь к разбираемому, то хотя бы сочувствие, со-мыслие. Зачем судить художника по тому, чего у него нет, – не лучше ли – по тому, что у него есть. *Неистовый Виссарион* даже не подозревает, что «надо то, надо сё» Музе говорить бессмысленно: Ей и сам поэт приказать не может...

Приведя несколько выписок из лёгких, *на случай*, стихов, Белинский восклицает:

«И это поэзия?.. И это хотят нас заставить читать, нас, которые знают наизусть стихи Пушкина?.. И говорят ещё иные, что XVIII век кончился!.. <...> О поэмах г. Баратынского я ничего не хочу говорить: их давно никто не читает. Нападать на них было бы грешно, защищать странно. Однако замечу мимоходом, что в “Пирах” блестят местами искры остроумия и даже изредка чувства <...>».

Больше откликов в печати на книгу Боратынского не было.

Лишь год спустя критическому разбору Белинского возразил в «Журнале Министерства народного просвещения» Я. М. Неверов. Он принялся доказывать отличие *поэта-гения* от *поэта-таланта*, чего, по его мнению, не сделал Белинский, но в итоге пришёл к весьма незначительным, неверным и поверхностным выводам, очень похожим на суждения Белинского: «<...> Кажется, что отказать в поэтическом таланте г. Баратынскому столь же невозможно, как и почитать его поэтом по преимуществу. В нём есть поэзия, есть и искусство, но они являются проблесками, и многие из этих проблесков превосходны, тогда как многие стихотворения остаются слабыми, потому что на них пала малая капля вдохновения; и эта же мгновенность поэтического расположения причиною слабости эпических его произведений».

Вот и всё, что наскребла по своим тощим сусекам тогдашняя литературная критика – говоря о книге Боратынского, вместившей в себя вдохновенный труд двух десятилетий.

Насчёт В. Г. Белинского в общем-то всё понятно: он уже начинал проповедовать свои взгляды о «современности», «социальности», для него уже был несносен дух аристократизма. Боратынский, конечно, был ему чужд, ибо считал поэзию самоцелью, а не средством для выражения тех или иных политических идей.

Гейр Хетсо находит некоторые суждения Белинского о Боратынском, высказанные в 1835 году, «оскорбительными и несправедливыми». Что касается статей критика 1840-х годов, то и там, замечает он, Белинский высказывается о поэте «самым обидным образом» – и чуть ли не советует Боратынскому «перестать писать».

«<...> Свойственная Боратынскому мысль о полной отрешённости искусства от грубой прозы человеческой жизни оказалась несовместимой с убеждением Белинского о том, что поэзия должна служить целям прогресса, – замечает Гейр Хетсо. – <...> Даже в самой доброжелательной статье 1845 года Белинский пишет, что “в стихе Баратынского есть поэзия, но как его второстепенное качество, и оттого он не художествен”».

Окончательный вывод этого объективного учёного нельзя не признать точным и справедливым:

«Не спорим, что в статьях Белинского о Боратынском есть много тонких наблюдений, достойных этого величайшего русского критика. Однако необходимо

предостеречь от вредной тенденции видеть в Белинском непререкаемый авторитет, мнение которого считается чуть ли не законом, – считает исследователь. – На наш взгляд, Белинский, разбирая творчество Баратынского, явно злоупотребляет положением критика: вместо того, чтобы читать и истолковывать стихотворения поэта в соответствии с их собственными предпосылками и затем беспристрастно исследовать, в какой степени эти предпосылки соблюдены, Белинский произвольно берёт на себя роль *судьи* над поэтом, догматически заявляя, что его мысли “ложны” и “неверны”. Вообще создаётся впечатление, что статьи о Баратынском написаны “неистовым” фанатиком, наделённым раздражительной нетерпимостью к чужому мнению <...>».

Эпиграммы Баратынского на Белинского не оставляют никакого сомнения в том, что едкие, во многом несправедливые выпады “неистового Виссариона” были для Баратынского обидны и мучительны. Известно, что Пушкин желал видеть в Белинском “более уважения к преданию, более осмотрительности”. В этой связи можно напомнить о замечании Брюсова: “Баратынский <...> не ожидал, что молодая критика отнесётся к нему так же свободно, как к любому новичку в литературе. Он был глубоко уязвлён”».

### Звезда разрозненной плеяды

Стихи Баратынского середины 1830-х годов горчат ещё больше, чем прежние, – и что особенно заметно в них, так это, наверное, прямо не называемая тоска по дружеству. Былых близких сердцу людей или не осталось, или же они далеко. Стихотворение, обращённое к Петру Андреевичу Вяземскому, уехавшему жить в Петербург, стало последним в целой череде *посланий*, раньше тесной, а теперь иссякшей. Этим посланием Баратынский открывает в 1842 году свою книгу поздней лирики «Сумерки» и даже выделит стихотворение курсивом – как заповедь:

<...> Вам приношу я песнопенья,  
Где отразилась жизнь моя:  
Исполнена тоски глубокой,  
Противоречий, слепоты  
И между тем любви высокой,  
Любви, добра и красоты. <...>

Князь Вяземский видится ему последним товарищем, который способен понять его душу и за кого ему хочется помолиться напоследок:

Счастливым сын уединенья,  
Где сердца ветреные сны  
И мысли праздные стремленья  
Разумно мной усыплены;  
Где, другу мира и свободы,  
Ни до фортуны, ни до моды,  
Ни до молвы мне нужды нет;  
Где я простил безумству, злобе

И позабыл, как бы во гробе,  
Но добровольно, шумный свет, –  
Ещё порою покидаю  
Я Лету, созданную мной,  
И степи мира облетаю  
С тоскою жаркой и живой.  
Ищу я вас, гляжу: что с вами?  
Куда вы брошены судьбами,  
Вы, озарившие меня  
И дружбы кроткими лучами  
И светом высшего огня?  
Что вам дарует Провиденье?  
Чем испытует Небо вас?  
И возношу молящий глас:  
Да длится ваше упоенье,  
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной плеяды!  
Так из глуши моей стремлю  
Я к вам заботливые взгляды,  
Вам высшей благодати молю <...>.

*Звезда разрозненной плеяды!.. – о ком это? – о Вяземском?.. о себе?..*

Пожалуй, и то и другое. Да, наверное, о всяком из н и х – того, пушкинского, круга, который рассеян временем.

«Разрозненная» – от слова «рознь»: *порознь* теперь живут они: Пушкин, Вяземский, Боратынский, Языков, а Дельвига и вовсе нет на свете; но не коснулась ли рознь и их душ, ведь каждый идёт своим путём и думает свою думу.

Относил ли Боратынский к этой *плеяде* Ивана Киреевского, младшего годами, недавно ещё такого близкого его душе?..

Почему их пути разошлись, а пылкая дружба – разладилась?..

Послание к Вяземскому, кажется, втайне напоено и этой невысказанной болью.

Ни к кому другому, за исключением Антона Дельвига, Боратынский не испытывал такой сердечной привязанности и расположения ума, как к Ивану Киреевскому. По кончине Дельвига Киреевский стал ему самым близким другом и почти восполнил ему утрату. Молодой философ был человеком кристально чистым, смиренным и добрым, вдобавок он столь же умён и даровит, как хорош своим нравом и сердцем. Все его любили: Алексей Хомяков отмечал, что жизнь Ивана Васильевича «<...> украшена была с первой молодости приязнию Пушкина, горячею дружбою Жуковского, Баратынского, Языкова и (слишком рано увядшей надежды нашей словесности) Д. В. Веневитинова».

Впоследствии Киреевский писал в некрологе о Боратынском:

«<...> От природы получил он необыкновенные способности: сердце глубоко чувствительное, душу, исполненную незасыпающей любви к прекрасному, ум светлый, обширный и вместе тонкий, так сказать, до микроскопической проницательности и особенно внимательный к предметам возвышенным и поэтическим, к вопро-

сам глубокомысленным, к движениям внутренней жизни, к тем мыслям, которые согревают сердце, проясняя разум, – к тем музыкальным мыслям, в которых голос сердца и голос разума сливается созвучно в одно задумчивое размышление <...>».

О товарищеском союзе Боратынского с Пушкиным и Дельвигом Киреевский пронизательно заметил, что «<...> внутреннее сродство сердечных пристрастий связало их самую искреннюю дружбу, цело сохранившеюся до конца жизни всех трёх».

Подобное же *внутреннее сродство* было у Боратынского и с Киреевским.

Гейр Хетсо недоумеваает, как же молодой философ, человек редкой доброты, «духовный учитель поэта в начале 1830-х годов», мог попасть в число «недрузгов» Боратынского? Пытаясь отгадать эту загадку, исследователь доскональней всех других изучил совокупность обстоятельств, что разрушили дружбу Боратынского с Киреевским.

Нельзя отрицать, считает учёный, что отношения Боратынского с целым рядом московских писателей, в первую очередь с Киреевским и его кругом, были «на грани разрыва», хотя для полного выяснения этого вопроса биографы располагают «чрезвычайно скудными материалами»:

«Во многих случаях приходится довольствоваться скромными предположениями <...>. Единственное, что можно установить достоверно, это то, что с конца 1830-х годов Баратынский всё сильнее и сильнее чувствует холодное и равнодушное отношение к себе со стороны многих московских писателей. Сознание, что он теряет своих друзей, становится для него сильным источником горечи и страдания. Так, в письме к Я. К. Гроту от 1 августа 1844 года П. А. Плетнёв, ближайший друг поэта в последние годы его жизни, пишет: “Баратынский ужасно страдал всю жизнь от судьбы и от людей. Литераторы московские на него клеветали, не ценили его таланта”. Немного позднее он рассказывает о своём посещении вдовы Баратынского, “которая всё жаловалась на московских литераторов, как они огорчали её мужа” <...>».

Сам Баратынский напрямую никого не обвинял, но в его стихах начала 1840-х годов порой звучит сильная душевная горечь. Такова эпиграмма «Коттерии» (это слово переводится с французского как «общества заговорщиков»):

Братайтесь, к взаимной обороне  
Ничтожностей своих вы рождены;  
Но дар прямой не брат у вас в притоне,  
Бездарные писцы-хлопотуны!

Наоборот, союзным на благое,  
Реченного достойные друзья,  
«Аминь, аминь, – вещал Он вам, – где трое  
Вы будете – не буду с вами Я».

В последних двух строках перефразированы известные слова Спасителя из Евангелия от Матфея (18, 20).

«Коттерии» обращены к тем писателям, что создали журнал «Москвитянин», ставший органом славянофилов. Ранее в письме к Н. Путяте Боратынский назвал этих писателей «организованной коттерией». Впоследствии жена поэта сопро-

водила послание своей припиской: «Баратынский упоминает в этом письме о коттерии московских литераторов, которая вредно действовала на его нежную, раздражительную душу. Какое влияние развивало в нём подозрения, и были ли они болезненными снами воображения или не вовсе снами, как он сам выразился, – здесь не место это разбирать: “Сумерки”, изданные в 1842 г., носят многие следы мрачных впечатлений, полученных им в то время» (перевод с французского).

В одном из последних стихов Баратынского «На посев леса» (1842) есть строфа, в которой виден явный отзвук этих «мрачных впечатлений»:

Велик Господь! Он милосерд, но прав:  
Нет на земле ничтожного мгновенья,  
Прощает Он безумию забав,  
Но никогда пирам злоумышленья.

«Такие намёки наполняют некоторые из последних стихотворений Баратынского поистине ветхозаветным, хотя, может быть, и не всегда справедливым гневом, – пишет Хетсо. – <...> В самом деле трудно указать на конкретные причины возмущения и гнева поэта <...>».

Прямого – откровенного – разрыва у Баратынского с Киреевским не было, но в середине 1830-х годов их бурная переписка (поэт, находясь в деревне, не пропускал ни одной почты) вдруг резко оборвалась. Г. Хетсо считает: отчасти это связано с тем, что философ, после запрещения журнала «Европеец», находился под надзором полиции и не желал своими письмами, которые досматривались, вредить друзьям. Но через несколько лет, когда Баратынские уже обосновались в Москве, стало очевидно, что былой дружбе пришёл конец: поэт и философ почти не общались.

Биограф Алексей Песков уверен, что причиной этого разрыва стали «какие-то слухи», дошедшие до Баратынских «в таком виде», что они сочли их распространителями Ивана Киреевского и его мать, Авдотью Петровну Елагину: «Содержание слухов неизвестно. Скорее всего это был обычный светский вздор, который распространяют малознакомые или неприязненно относящиеся к нам люди». Однако пример, который привёл исследователь, свидетельствует, что «вздор» был весьма злоязычным.

В воспоминаниях Александры Осиповны Смирновой-Россет есть пересказ двух характерных сплетен: «Евгений был камер-пажем и проводил воскресенье у дяди сенатора Баратынского, попросил у него денег, тот отказал, и несчастный Евгений украл у него фамильную табакерку, украшенную бриллиантами. Дядя на него пожаловался, его разжаловали в солдаты и отослали в Гельсингфорс <...>. Баратынский женился на Энгельгардт, сестре Софьи Львовны Путята. Его жена некрасива, грязна, скучна и ревнива; он начал пить, что вызвало ужасные сцены».

Язвительную и умную красавицу Александру Смирнову-Россет Жуковский в шутку называл «небесным дьяволёнком», однако вряд ли бы она, дружившая с лучшими поэтами эпохи, стала пересказывать подобные нелепые и грязные рассказы: вероятно, правы те современники бывшей фрейлины, которые считали «Воспоминания» во многом вымышленными её дочерью, Ольгой Николаевной, по смерти матери подготовившей записки к изданию.

Как бы то ни было, Алексей Песков совершенно справедлив в своих выводах:

«Только при болезненном состоянии духа можно было заподозрить Киреевского и его мать в причастности к такого рода вздору. Боратынский и Настасья Львовна заподозрили и отвергли былую привязанность навсегда, отравив тем самым и собственную жизнь – памятью о предательстве друзей, и жизнь былых конфиденентов».

Н. Калягин тонко замечает, что Боратынский «на равных участвовал со своей женой в играх против остального мира», а так как поэта в семье Киреевских-Елагиных «ценили чуть выше, чем его жену, <...> и этого микроскопического “чуть” вполне хватило для разрыва». По-видимому, Боратынский решил, что в этой семье Настасью Львовну как-то «обидели» или «унизили», а это был для него уже «грех непрощаемый»... «За себя Баратынский мог всё простить, но обидчик Настасьи Львовны автоматически становился ему врагом».

«Знаете, разные *слухи* ходили и распускались», – отвечал позже сын поэта, Лев Евгеньевич, философу Е. А. Боброву. Наверняка от своей матери он знал и подробности, но явно не хотел вдаваться в них. «Возможно, что острый язык поэта наделал ему врагов, – предполагает Гейр Хетсо. – Известно, что Баратынский из-за своих острот и насмешек иногда производил впечатление человека “злого”».

Но, быть может, и Киреевский ненароком повредил этим отношениям. В переписке Т. Н. Грановского со своей женой есть пересказ разговора с И. В. Киреевским: «Кстати о пьянстве. И. В. уверяет меня серьёзно, что из того приёма, с каким я беру в руки рюмку вина, ясно, что я имею склонность к пьянству и что я напомнил ему этим двух его друзей – Рожалина (покойник был пьяница) и Баратынского». Если Иван Васильевич делился этими своими наблюдениями не только с Грановским, то подобные разговоры вполне могли окольными путями дойти и до Боратынских. Понятно, всё это задело бы поэта, а тем более его жену, Настасью Львовну, ревностно относившуюся ко всему, что связано с мужем.

«Возможно, впрочем, что разрыв с Елагиными был виною не столько поэта, сколько его мнительной супруги, – считает Г. Хетсо. – “Отпугивала несколько друзей Баратынского его деспотическая жена, Анастасия Львовна, но никогда не он сам”, – пишет М. Л. Гофман <...>».

В одном из писем Авдотьи Петровны Елагиной к Софье Боратынской-Дельвиг мать Киреевского передаёт сердечный привет брату поэта, Сергею Абрамовичу, и пишет: «<...> Как я рада, что он не враждебно обо мне помнит! Неужели дети моего вечно мне милого Евгения Абрамовича наследовали непостижимую для меня ненависть своей матери? <...>»

Кроме природных свойств характера и превратностей судьбы, была и другая причина, по которой у молодых супругов развилась такая подозрительность: и она – в замкнутой семейной жизни. Центроостремительная сила слияния двух душ со временем отметала всех посторонних. Боратынский был чрезвычайно цельной натурой и, отыскав себе верную подругу жизни, сосредоточился в общении только на ней. Возможно, это было в нём и защитной реакцией: ведь смолоду его томил соблазн увлечься натурой совсем другой – огненно-страстной и противоречивой, этакой *беззаконной кометой* в расчисленном кругу жизни,

с которой бы он погиб окончательно. Не потому ли, инстинктивно спасаясь, он бросился с головой в другой омут, под названием *семейное счастье*? Без сомнения, Настасья Львовна подходила для этого, как никакая другая женщина.

С годами сердечная привязанность Боратынского к жене только возрастала, чему свидетельством его письма к Настасье Львовне, которыми он засыпал супругу в вынужденных порой отлучках из дому. Так, в июне 1836 года Боратынский пишет к жене из Москвы в Мураново: «<...> Чувствую себя хорошо, но слегка пьян. <...> обнимаю тебя нежно, мой ангел, как в первый день женитьбы. Впрочем, вздор: я тебя люблю теперь несравненно больше, но невозможно это изъяснить. Знаешь ли, десять лет со дня свадьбы – это событие торжественное! Это договор, который я продлеваю ещё на десять лет? Это закон законов. Прощай, мой милый друг, моё дорогое дитя. Не пеняй на дурачество моего письма. Несмотря на прекрасное настроение, я немного грустен оттого, что тебя нет рядом со мною. Храни тебя Господь!» (*перевод с французского*)

Письма же самой Настасьи Львовны к мужу (сохранилось лишь одно) просто пылали нежной любовью: «Обожаемый мой, жизнь моя, сокровище бесценное, дорогой мой, душа моя, как мог ты вообразить, что я затаила на тебя обиду? <...>» – обращается она к мужу в мае 1840 года (*перевод с французского*). И далее в письме как только его не величает: «моя душичка», «моя милая душичка», «шеринька» (от французского *cher* – милый, дорогой)...

Поэт вообще – существо необычайно чувствительное и впечатлительное; любая искра в нём мгновенно вспыхивает пламенем и вырастает в пожар, – такова сила воображения. Боратынский обладал этими свойствами в высшей степени, что столь же говорит о величине его поэтического дара, сколько и о боли и бедах, которые он наносил самому себе своим воображением, когда не мог справиться с ним. Это напрямую касается и его мнительности. Гейр Хетсо замечает: «<...> Жена поэта ничуть не рассеивала его подозрительности. Пользуясь всё возрастающим влиянием на своего мужа, она, по-видимому, ещё и поощряла в нём усиливающуюся с годами склонность к мнительности».

Биограф Алексей Песков, размышляя о разрыве поэта с Киреевским, пришёл к парадоксальному, но чрезвычайно точному выводу: «Одной из главных причин кризиса, вероятнее всего, стало то, что составляло вместе с тем его счастье – семейная идиллия. Мирный, размеренный семейный быт был для Боратынского необходим, как воздух. Однако в реальности тесный домашний круг являлся оплотом полноценного бытия лишь постольку, поскольку был возможен периодический выход за его пределы. Для Боратынского такими выходами служили, во-первых, общение с Киреевским, во-вторых, участие в литературе. Когда он писал Киреевскому после закрытия “Европейца” о том, что теперь, несмотря ни на что, надо продолжать трудиться, как на необитаемом острове <...>, он не лукавил. Но одно дело – убежденность человека в том, как следует действовать в экстремальной ситуации, другое – его действительное психическое состояние в такой ситуации. И, как выяснилось впоследствии, писать как на необитаемом острове, без повседневного общения с мыслящим другом и в отрыве от близкой литературной среды, Боратынский мог преимущественно об одном: фигурально выражаясь, о том, что он на необитаемом острове – об одиночестве художника, о бессмысленности и бесплодности жизни, об отчаянии человека, не находящего нигде отзыва своему слову (см. “Последний поэт”, “Недоносок”, “Бокал”,

“Осень”, “Были бури, непогоды...”, “На что вы дни! Юдольный мир явленья...”, “Рифма” и проч.)».

А. Песков с уверенностью заключает, что никакой действительной травли Боратынского со стороны московских писателей на самом деле не было. Боратынского не забывали приглашать на значительные писательские сборища (одно из них – именинный обед Гоголя в саду дома Погодина на Девичьем поле); весьма доброжелательно отзывались о нём в «Москвитянине». Более того, впоследствии выяснилось, что не было о нём и неприязненных отзывов в письмах, дневниках писателей из круга «Москвитянина». «<...> Дело было прежде всего в болезненном самоощущении – в ожидании нападения, в воспоминаниях об обидах, в страхе новых душевных ран. В результате незначительные мелочи превращались в знаки вражды». Однажды во время поездки Боратынского в Петербург его увидел Вяземский – и вдруг спросил о здоровье, а потом неожиданно сказал: «Вы несколько похожи на мнимого больного». Похоже, Вяземский подметил нечто новое в поведении поэта: настороженность.

Резкие перепады настроения, свойственные Боратынскому, со временем переменяла и его жена (если только это не было ей свойственно и прежде даже в большей степени, чем мужу). Так, весной 1842 года в Мураново приехала Софья Львовна Путята (Соничка Энгельгардт вышла к тому времени замуж за друга Боратынского, Николая Путяту). Она решила навестить Боратынских, чтобы убедиться, всё ли у них в порядке. «Не волнуйтесь... о нашем расположении духа, – писала Путятам А. Л. Боратынская после отъезда сестры, – оно может оставить у вас плохое впечатление... Мы во всём, такие уж у нас характеры, доходим до крайностей: то, что в хорошую минуту вызовет прилив чрезмерной весёлости, в минуту уныния будет преувеличено противоположным образом, вот почему мы совершаем столько ошибок, повинуюсь нашему воображению, порой бросаясь на шею людям, от которых следовало бы уклониться <...>; если бы вы услышали, насколько различно мы говорим об одном и том же в зависимости от состояния духа, вы посчитали бы нас в некотором роде сумасшедшими» (*перевод с французского*). «В сущности, Настасья Львовна на свой лад объясняла доминантный принцип поэзии её мужа – относительность истин», – заключил по сему поводу Алексей Песков.

Однако же в своих толкованиях о поэзии Боратынского исследователь всё-таки чересчур прямолинеен: можно ли выводить такую тонкую материю, как стихи, только из обстоятельств жизни или же прихотей характера? Всё гораздо сложнее. Воззрение поэта на жизнь и на мир изначально даётся ему вместе с даром – и только проявляется потом всё с большей ясностью, полнотой и силой.

Скорее, слова Настасьи Львовны больше о том, как *слились* они с мужем-поэтом своими характерами. Всё по старой русской пословице: *муж и жена один сатана*.

Николай Калягин пишет:

«Когда Баратынский за полгода до смерти обращается к жене со словами: “О, сколько раз к тебе, святой и нежной, / Я приникал главой своей мятежной, / С тобой себе и Небу веря вновь”, – он создаёт в этих стихах “ложный образ счастья”, изображает извращённую, “перевернутую” иерархию бытия. Я с тобой – поэтому я могу верить в себя – поэтому я могу верить Небу. Неудивительно, что страх за здоровье жены убил Баратынского в Неаполе: потеряв жену, он автоматически терял и

Небо, и самого себя... Правильный порядок совершенно противоположен: я верю Небу – поэтому я могу верить себе – поэтому я могу любить другого (другую)».

Как бы тяжело ни приходилось ему в жизни как человеку, Боратынский никогда не изменял своим взглядам. Он не поддавался никому и ничему, храня своё видение мира и жизни в чистоте и поверяя его лишь своими убеждениями. Не оттого ли число его идейных и литературных противников только росло? К началу 1840-х годов к его старым журнальным оппонентам: Н. Полевому, Надеждину, Булгарину, Сенковскому добавились новые – проповедники философии Гегеля, из кружков Герцена и Станкевича.

<...> Летел душой я к новым племенам,  
Любил, ласкал их пустоцветный колос,  
Я дни извёл, стучась к людским сердцам,  
Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! <...> –

признавался Боратынский в стихотворении «На посев леса» (1842).

Молодые гегельянцы уповали на разум, на логику, на достижения науки, – Боратынский же больше доверял интуиции. «Поэзия есть полное ощущение известной минуты», – говорил он.

В отличие от поклонников философии Боратынский познавал мир *как поэт* и потому не мог не быть чужаком для того или иного литературного лагеря. Это ясно почувствовал и точно выразил Пётр Плетнёв: «Дорожа вдохновенными трудами своими как честью и не понимая так называемого ремесла литературного, Баратынский не мог принадлежать ни к одной из писательских партий: он был друг одних литераторов чистой сферой, которым нет никакой надобности в мелочных подпорах».

Да и сам поэт признавал своё духовное одиночество: недаром он перестал посещать литературные салоны, бросив им напоследок насмешливую эпиграмму:

На всё свой ход, на всё свои законы.  
Меж люлькою и гробом спит Москва;  
Но и до ней, глухой, дошла молва,  
Что скучен вист и веселей салоны  
Отборные, где есть *уму простор*,  
Где властвует не вист, а *разговор*.  
И погналась за модой новосветской,  
Но погналась старуха не путём:  
*Салоны есть, – но этот смотрит детской,*  
*А тот, увы! – глядит гошпиталём.*  
(1840?; курсив мой. – В. М.)

И, наконец, последняя и едва ли не самая существенная причина его расхождения с Иваном Киреевским, причина, о которой почти совсем не пишут ни А. Песков, ни Н. Калягин, а Г. Хетсо – сообщает недостаточно полно. Она заключается в резко изменившихся после 1834 года взглядах Киреевского, испытывавшем на этом рубеже духовное перерождение.

Весной 1834 года Киреевский женился; его избранницей стала Наталия Петровна Арбенева, доводившаяся ему троюродной сестрой, руки которой он до этого несколько лет безуспешно добивался. Наталья Петровна была воспитана, в отличие от Ивана Васильевича, в строгом благочестии. «В первые времена после свадьбы исполнение ею наших церковных обрядов и обычаев неприятно его поражало, но по свойственной ему терпимости и деликатности он ей в том нисколько не препятствовал, – записал впоследствии друг философа А. И. Кошелев. – Она, с своей стороны, была ещё скорбнее поражена отсутствием в нём веры и полным пренебрежением всех обычаев Православной Церкви. Между ними были разговоры, которые оканчивались тем, что положено было ему не мешать ей в исполнении её обязанностей, а ему быть свободным в своих действиях, но он обещал при ней не кощунствовать и даже всячески прекращать неприятные для неё разговоры его друзей».

Через год Киреевский попросил жену прочесть книгу Кузена; она прочитала и сказала, что в книге много хорошего, но ничего нового: всё это есть в трудах святых отцов Церкви. Кощунника и насмешника Вольтера – читать отказалась. А когда вместе с мужем, по его просьбе, стали читать Шеллинга, ничему не поразились, хотя философ «требовал удивления от жены своей»: светлые мысли немецкого философа лишь повторяли то, что она вычитала в книгах святых отцов. Иван Васильевич сверился с этими книгами и увидел, что жена права. «Неприятно ему было сознавать, что, действительно, в святых отцах – многое, чем он восхищался в Шеллинге. Он не любил в этом сознаваться, но тайком брал у жены книги и читал их с увлечением».

Потом Киреевский познакомился с духовником жены иеромонахом Филаретом (Пуляшкиным), прочёл труды *учителя безмолвия* – Исаака Сирина, и как-то произошло чудесное событие:

«И. В. Киреевский никогда прежде не носил на себе креста. Жена его не раз его о том просила, но Иван Васильевич отмалчивался. Наконец однажды он сказал ей, что наденет крест, если он будет ему прислан от о. Филарета, которого ум и благочестие он уже давно уважал. Наталья Петровна поехала к о. Филарету и сообщила ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Наталье Петровне: “Да будет он Ивану Васильевичу во спасение”.

Когда Наталья Петровна приехала домой, то Иван Васильевич, встречая её, спросил: “Ну, что сказал о. Филарет?” Она вынимает крест и отдаёт его Ивану Васильевичу. Иван Васильевич спрашивает её: “Какой это крест?” Наталья Петровна говорит ему, что о. Филарет снял его с себя и сказал, что да будет он ему во спасение. Иван Васильевич пал на колени и говорит: “Ну, теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своём положил: если о. Филарет снимет с себя крест и мне его пришлёт, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению”. С этой минуты замечен был решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича. Так действием благодати Божией распахнулись наконец двери сердца Ивана Васильевича в сретение Христа Спасителя».

По религиозному преображению философ вошёл в церковную жизнь и возглавил славянофильское движение. Братынский же разделял далеко не все взгляды славянофилов. По определению Гейра Хетсо, поэт, будучи русским душою и сердцем, в то же время чувствовал себя в долгу перед духовной жизнью Западной Европы: «боевой клич» славянофилов о *гнилой Европе* был ему

чужд. Однако и непримиримым западником он отнюдь не был, недаром в 1836 году, после появления знаменитого философического письма П. Я. Чаадаева, поэт готовил «опровержение» на него. Как и славянофилы, Боратынский верил в славное будущее России, но ценил и лучшее в культуре Европы. «Надо думать, – считает Г. Хетсо, – что Боратынский чувствовал себя “между славянофилами и западниками”, подобно Н. А. Мельгунову, для которого “Россия есть Россия, но вместе и часть Европы”».

Так Боратынский и остался между двумя направлениями русской мысли, не примкнув ни к одному лагерю.

Понятно, и для славянофилов и для западников он был, если и не врагом, то чужим. И те и другие вскоре стали равнодушны к нему, да и сам поэт почувствовал к ним – *партийным*, то бишь если по-русски – *частичным*, отчуждение. Душа – шире партий, лагерей, всех могучих или же не очень кучек... Его литературные связи с «Московским наблюдателем», «Москвитяниным» и «Отечественными записками» быстро прекратились; поэт отдавал немногие свои стихи только в «Современник», который после Пушкина возглавил П. А. Плетнёв. Но «Современник», тот выходил в Петербурге...

А в Москве же Боратынский остался – один.

### «Мир я вижу как во мгле...»

К этому времени относятся стихи, развивающие горькие мысли «Последней смерти» и «Последнего поэта».

В «Недоноске» (1835) Боратынский повествует о некоем существе «из племени духов», которое в тоске мечется между небом и землёю, ненужное никому и ничему, – причём весь рассказ, что весьма необычно для его стихов, ведётся от первого лица.

Это стихотворение, несомненно, самое таинственное произведение Боратынского, выражающее тёмные глубины его интуитивного постижения мира.

Недоносок не в силах взлететь до райских высот, но страшится и земли, исполненной «людских скорбей». Что это? – человеческий ли дух, неполноценный и несовершенный, или же олицетворённое сознание человека, понимающее своё бессилие перед стихиями природы и земных страстей?..

Поэт не даёт определённого ответа на этот вопрос, словно бы лишний раз подчёркивая межеумочную сущность Недоноска:

<...> Изнывающий тоской,  
Я мечусь в полях небесных,  
Надо мной и подо мной  
Беспредельных – скорби тесных!  
В тучу прячусь я и в ней  
Мчуся, чужд земного края,  
Страшный глас людских скорбей  
Гласом бури заглушая.

Мир я вижу как во мгле;  
Арф небесных отголосок

Слабо слышу... На земле  
 Оживил я недоносок.  
 Отбыл он без бытия:  
 Роковая скоротечность!  
 В тягость роскошь мне твоя,  
 О бессмысленная вечность!

Филолог Ирина Семенко, толкуя это стихотворение, пишет, что в нём сказались религиозные сомнения поэта:

«<...> Образ Недоноска, в сущности, столь же кощунствен, как кощунственны были ранние стихи Баратынского о “случайном” даре жизни (“Дельвигу”, 1821; 1-я редакция “Стансов”, 1825). Ведь христианская религия основывалась прежде всего на учении о бессмертии духа, о доступности ему “эмпирия”, о божественной природе “души”».

Однако духовная цензура, пропустившая стихотворение в печать, по-видимому, не посчитала Недоноска человеком, а только лишь – игрой воображения, фантастическим *существом*.

И. Семенко, очевидно, придерживается другого мнения: она продолжает свою мысль, замечая, что в «Недоноске» Баратынский, по сути, вступает в полемику с державинской одой «Бог».

Г. Р. Державин в своей знаменитой оде прямо пишет – о человеке:

<...> Поставлен, мнится мне, в почтенной  
 Сердине естества я той,  
 Где кончил Ты духов небесных  
 И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров повсюду сущих <...>.

Недоносок же Баратынского – «из племени духов, / Но не житель эмпирия».

«“Срединность” положения человека в мироздании Державина вполне устраивает, – заключает И. Семенко. – Для него эта срединность “почтенна”... Для Баратынского она – источник неудовлетворённости и страдания. Его Недоносок <...> и державинский Человек <...> совершенно по-разному относятся к своей “срединности”. Ведь Державин доказывает бытие Бога, создавшего человека, и осмысленность человеческого существования с помощью рационалистически-просветительских аргументов – в чём своеобразие его гениальной оды (“Умом громам повелеваю...”). Таким образом, Баратынский сокрушает многие “твердыни”; опять мы сталкиваемся с разносторонней направленностью его скептицизма. “Ты есть – и я уж не *ничто*...” (Державин). “Бедный дух, *ничтожный* дух...” – парирует Баратынский. Недоносок Баратынского не только не способен “повелевать громами”, но оглушён и обессилён ими “под небом громовым”. Этому неполноценному, “метафорическому” недоноску хватило творческой силы лишь для того, чтобы оживить, притом на короткий миг, мертворождённого реального, земного человека. Так поэт создаёт символ угнетавшей его “роковой скоротечности” существования человека и ничтожности его поприща во вселенной».

Другой современный исследователь В. Н. Ильин в статье «Таинство печали» (1966) сопоставляет поэзию Боратынского с экзистенциализмом, возникшим как учение спустя век с лишним. По его мнению, стихотворение «Недоносок» расширяется «до размеров выражения очень характерной для эпохи Боратынского мировой скорби, переживания мирового и общечеловеческого неблагополучия, порядка уже вполне экзистенциального, где ситуация и роковое стечение обстоятельств раскрываются как онтология».

С этим наблюдением сходятся мысли филолога С. В. Рудаковой:

«Размеры катастрофы, переживаемой Недоноском и описанной Боратынским, чудовищно велики. Место действия в стихотворении – божественное мироздание, время действия – вечность. Трагедия Недоноска внутрличностная, его метания сравнимы с “бесплодностью земного подвижничества Последнего Поэта” (Е. Н. Лебедев), который мог с полным правом заявить о своей судьбе, как это делает лирический герой стихотворения “На посев леса” (1842?):

Я дни извёл, стучась к людским сердцам,  
Всех чувств благих я подавал им голос.

Можно предположить, что “Недоносок” представляет собой воссоздание страшной трагедии, переживаемой как отдельным человеком, так и в его лице всем человечеством. <...>

Недоносок Боратынского – это образ, воспринятый многими как некая метафора, свидетельствующая о положении человека в современной жизни. Нам же видится в Недоноске прежде всего отражение метаний души Поэта, лирического героя “Сумерек”, который чем глубже погружается в историю европейской цивилизации, в бездны человеческого духа, тем острее ощущает страшный разрыв между желанной гармонией и реальной действительностью <...>».

Другое стихотворение – «Бокал» (1835) – не менее трагично. Оно – об участии художника в мире, который уже постиг всю земную правду и перед которым теперь открываются тайны «бессмысленной вечности». Если Недоносок видит мир – «как во мгле», то перед Художником – самим поэтом – *мгла* рассеивается.

Поначалу поэт с беспощадностью осознаёт своё одиночество:

Полный влагой искрометной,  
Зашипел ты, мой бокал!  
И покрыл туман приветный  
Твой озябнувший кристалл...  
Ты не встречен братьей шумной,  
Буйных оргий властелин, –  
Сластолюбец вольнодумный,  
Я сегодня пью один.

Чем душа моя богата,  
Всё твоё, о друг Аи!  
Ныне мысль моя не сжата  
И свободны сны мои;

За струёю вдохновенной  
Не рассеян данник твой  
Бестолково оживленной  
Разногласною толпой.

Мой восторг неосторожный  
Не обидит никого,  
Не откроет дружбе ложной  
Таин счастья моего,  
Не смутит глупцов ревнивых  
И торжественных невежд  
Излияньем горделивых  
Иль святых моих надежд!

Вот теперь со мной беседуй,  
Своенравная струя!  
Упоенья проповедуй  
Иль отравы бытия;  
Сердцу милые преданья  
Благодатно оживи  
Или прошлые страданья  
Мне на память призови! <...>

Поэт прямо смотрит на жизнь: на былое и настоящее – и взыскует только одной правды:

О бокал уединенья!  
Не усилены тобой  
Пошлой жизни впечатленья,  
Словно чашей круговой;  
Плодородней, благородней,  
Дивной силой будишь ты  
Откровенья преисподней  
Иль небесные мечты. <...>

Как ни тяжка правда, но только ею поверяется истинное мужество художника, только она даёт поэту пророческую силу:

И один я пью отныне!  
Не в людском шуму пророк –  
В немотствующей пустыне  
Обретает свет высок!  
Не в бесплодном развлеченье  
Общежительных страстей –  
В одиноком упоенье  
Мгла падёт с его очей!

Этими гениальными стихами Боратынский навсегда прощается с п и р а м и молодости – тем блеском общей светлой радости, искрящегося ума, живых плодотворных мыслей, – всем, чем пылало их бывшее товарищеское общение, которое, по сути, было бескорыстным служением добру, истине и красоте. Дельвига уже нет на свете, погиб Рылеев, где-то томятся на каторге Бестужев и Кюхельбекер, с Пушкиным они отдалились друг от друга...

Горькое вино одиночества пьёт поэт – но зато растает с последнею *мглою* былых самообманов, благих надежд.

Не всякий вынесет *немотствующую пустыню*, но лишь там можно обрести *свет высок...*

## Глава двадцать вторая ОСЕНЬ ЖИЗНИ

### «Покинул лиру ты...»

Стихотворения «Бокал» и «Алкивиад», напечатанные «Московским наблюдателем» в начале 1836 года, стали последними произведениями Боратынского в этом журнале. Его отношения с *Наблюдателями* (как в шутку называл московских писателей Пушкин) разладились, и Боратынский больше ничего своего туда не отдавал. Его участие в литературной жизни сошло почти на нет, да и в салонах, где прежде он был постоянный гость, поэт больше не появлялся.

«Покинул лиру ты...» – вздыхал Николай Языков в своём послании к другу той поры.

1 февраля 1836 года в Москве скончался дядюшка Боратынского, Илья Андреевич, контр-адмирал в отставке. Евгений Абрамович наверняка проводил его в последний путь на кладбище Спасо-Андроньевого монастыря: почтенный моряк вместе с другими дядюшками: Богданом Андреевичем и Петром Андреевичем столько сделали для него в юности...

В апреле 1836 года вышел в свет первый том пушкинского журнала «Современник». Там было опубликовано литературное обозрение Николая Гоголя, в котором писатель довольно критически отзывался о «Московском наблюдателе», отметив лишь как *перлы русской поэзии* стихи Боратынского и Языкова. До двух выше упомянутых стихотворений там у Боратынского выходили «Последний поэт» и «Недоносок».

Изящная миниатюра «Алкивиад» написана величественным гексаметром и сделана мастерски: словно бы вырезана алмазом по древней певучей бронзе:

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,  
Дланью слегка приподняв кудри златые чела,  
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом  
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;

Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,  
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.

Он же глух был и слеп; он, не в меди глядясь, а в грядущем,  
Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?

Так и Боратынский *глух был и слеп* – в виду шумного успеха таких писателей, как Бенедиктов и Барон Бромбеус, – и гляделся в грядущее затем, чтобы понять: к лицу ли ему была бы *слава*? Пушкин, и тот уже полузабыл младенческой по вкусу толпой, кумиры которой лишь на день, не дольше...

В мае Александр Пушкин приехал в Москву из деревни, дабы порыться в архивах да похлопотать среди книгопродавцев о своём журнале. Остановился у Павла Воиновича Нащокина. Легко писал к жене в Петербург: «<...> С литературой московской кокетничаю как умею, но Наблюдатели меня не жалуют. Любит меня один Нащокин. <...> Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. <...> Баратынский однако ж очень мил. Но мы как-то холодны друг ко другу <...>».

У Пушкина в конце марта умерла мать, Надежда Осиповна. Из всей семьи он один поехал из столицы в Святогорский монастырь Псковской губернии, чтобы похоронить её. Там же, рядом с материнской могилой, присмотрел землю для вечного покоя и себе – и купил место. Гости у Нащокиных, Пушкин однажды рассказал его жене, Вере Александровне, как любовался песчаным, сухим грунтом, когда служители рыли могилу, и вспомнил вдруг про Войныча (как он порой звал её мужа): «Если он умрёт, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать». Вера Александровна, по свидетельству П. И. Бартенева, «очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старался её успокоить, подавал воды и пр.».

Но к чему московскому барину Нащокину псковский монастырь? – не о самом ли себе думал тогда Пушкин?.. Как раз к 1836 году относят его не опубликованное при жизни стихотворение «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»:

<...> а мы с тобой вдвоём  
Предполагаем жить, и глядь – как раз умрём. <...>  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

В октябре всю читающую публику взбудоражило философическое письмо Петра Чаадаева, напечатанное в русском переводе в «Телескопе»: западники восхищённо превозносили мыслителя, а славянофилы – проклинали. «Опыт времён для нас не существует, – писал Чаадаев, – века и поколения протекли для нас бесплодно... мы миру ничего не дали... мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чём не содействовали движению вперёд человеческого разума, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке <...>» и прочее в таком же духе.

В московских гостиных без конца говорили о статье, ожидая из Петербурга «грозу». А. И. Тургенев писал к П. А. Вяземскому, что от споров «<...> голова моя, и без того опустевшая, сильно разболелась», и сообщал ему, что Боратынский пишет «опровержение».

Пушкин, прочитав письмо Чаадаева, написал своему старому другу ответ. Изрядно возразив философу насчёт его трактовки русской истории, поэт заключил:

«<...> Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; – как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблён, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал. <...>

Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили <...>» (перевод с французского).

Его опасения сбылись – и очень скоро. Государь Николай I повелел закрыть «Телескоп». После расследования редактор журнал Надеждин был выслан в Усть-Сысольск, а Чаадаеву официально объявили, что он считается невменяемым. Своё письмо Пушкин не отправил...

У Боратынского как раз в ту пору умер тесть, Лев Николаевич Энгельгардт, – и «возражение» по поводу статьи Чаадаева он, занятый множеством домашних хлопот, так и не закончил...

### Скорбь по Пушкину

В первые дни февраля 1837 года в Москву пришли горестные известия о тяжёлом ранении Александра Пушкина на дуэли и его кончине.

4 февраля к Боратынскому приехал Погодин. «<...> Говорили о Пушкине и плакали», – записал потом Михаил Петрович в дневнике.

На следующий день Боратынский отправил Вяземскому в Петербург крайне взволнованное письмо:

«Пишу к вам под громовым впечатлением, произведённым во мне и не во мне одним ужасною вестью о гибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негоую. Мы лишились таланта первостепенного, может быть, ещё не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней, отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясён глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагоприятности к возникающему голосу России Провидение отвело око своё от поэта, давно составлявшего её славу и ещё бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) её великою надеждою? <...>»

Далее Боратынский пишет, как пришёл в скорбный час в дом Сергея Львовича Пушкина:

«Я навестил отца в ту самую минуту, как его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец на общие весьма не убедительные увещания сказал: “Мне остаётся одно: молить Бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл”. Это было произнесено с раздирающего ласковостию <...>».

«Есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным равнодушием, – с возмущением заключает письмо Боратынский, – но участвующее поражённое большинство скоро принудит их к пристойному лицемерию <...>».

Пушкин скончался 29 января.

Накануне Пётр Андреевич Вяземский с женой, Верой Фёдоровной, были у него, в доме на Мойке: Пушкин, тяжело страдающий от боли, прощался с друзьями...

1 февраля поэта отпевали. Когда вынесли на руках гроб, Вяземский упал без сознания перед процессией; Жуковский поднял его – Вяземский рыдал и бился в его руках...

Он хотел сопровождать гроб с телом Пушкина на Псковщину в Святые Горы, но царь не позволил, отрядив для этого Александра Ивановича Тургенева, единственного из друзей поэта, не занятого *по службе*. С горя Вяземский слёг... А Тургенев повёл себя странно: поручение его обидело; кроме того, в одном из писем он посочувствовал убийце, который отделался разжалованием в солдаты и высылкой из страны: «Но несчастный спасшийся – не несчастнее ли?..»

Вяземский же – мучился и нравственно. «Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями, – осознал он. – Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти».

7 февраля Екатерина Михайловна Хомякова (Языкова), молодая жена Алексея Хомякова, писала из Москвы сестре, Прасковье Михайловне Бестужевой: «<...> Здесь были Баратынские и сказывали, что жена Пушкина сошла с ума, и точно, есть с чего. Государь дал на его похороны 10 тысяч и 11 тысяч детям, которых взял под своё покровительство. Баратынский говорит, что благодеяния государя растрогали его до слёз. Честь ему и слава, что он умеет ценить таких людей, каков был Пушкин».

То же самое она сообщила и своему родному брату, поэту Николаю Михайловичу Языкову.

А в конце февраля Е. М. Хомякова написала П. М. Бестужевой, что Боратынский «<...> стал ужасно пить». Муж, Алексей, заглянул к поэту и «<...> нашёл его дома пьяным, ужасно жаль – 8 человек детей <...>».

По мнению А. М. Пескова, слова Хомяковой не стоит «принимать полностью всерьёз: она была склонна к преувеличению многих городских новостей <...>». Вполне убедительно: Екатерине Михайловне было всего двадцать лет; она, разумеется, по благовоспитанности отнюдь не была любительницей слухов, но, видно, сильно обеспокоилась за детей: у страха глаза велики. Да и вряд ли она могла понять то, как горюет поэт о своём собрате...

В апреле Боратынский получил из Петербурга от Жуковского посмертную маску Пушкина; такая же маска была прислана отцу Пушкина, Сергею Львовичу, и другу, Павлу Воиновичу Нащокину.

Сохранилось письмо неизвестного лица к неизвестному же адресату от 6 мая 1837 года: «Третьего дня я был у Баратынского, он мне показывал маску Пушкина, снятую с него в день его смерти, она страшно похожа. Витали, который

сделал очень похожий бюст Карла Брюллова, делает и бюст Пушкина. Говорят, это не так удачно. Баратынский говорил целый час о смерти Пушкина и о нём самом. Его стоило записывать. Он рассказывал все подробности этой истории, которые были ему сообщены Жуковским, Вяземским и, наконец, доктором Далем, людьми достоверными. Баратынский говорит, что он умер как христианин, и во всём оправдывает Пушкина, а обвиняет его жену. Я верю всему, потому что было заметно, что он и жены его не хотел обвинять из уважения к нему».

Прошло несколько месяцев – а скорбь о погибшем друге не стала меньше...

Остаётся только пожалеть, что этот неизвестный не записал слов поэта о Пушкине. Но и того, что высказано самим Боратынским в письмах, вполне хватает, чтобы понять, как высоко он ценил гений Пушкина и как любил его.

В молодости они вместе с Дельвигом и Кюхельбекером были братьями по *Союзу поэтов*, – и Боратынский не изменил этому братству. В пору пушкинского расцвета, вершиной которого было создание «Бориса Годунова», не кто иной, как Боратынский предугадал, ещё даже не прочитав трагедии, что она *исполнена красот необыкновенных*, и обратился к другу с пламенной, торжественной речью: «<...> Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело – признательность и удивление».

Это написано в декабре 1825 года.

Высокопарно? Да!.. Но вспомним, что слово это соединяет два другие – *высоко парить*: духом, разумом, вдохновением, – то есть взлететь над сиюминутным и разом схватить смысл и сущность явления.

Теперь-то, по прошествии двух веков, очевидно, что эти слова Боратынского были пророческими, что никто лучше его не осознал тогда истинного значения Пушкина в истории русского духа и русской словесности. А ведь Евгению Боратынскому было в то время всего 25 лет, да и Александр Пушкин был всего на год старше...

«<...> В самом деле примечательно, – замечает Гейр Хетсо, – что высказывание это исходит от Боратынского, которого многие ставили наравне с Пушкиным! Но сам Боратынский весьма далёк от мысли сравнивать себя с Пушкиным. Ему с самого начала было ясно, что к Пушкину надо подходить с другой меркой, чем ко всем остальным писателям. Даже когда он позволяет себе критиковать *Евгения Онегина*, исходя из требования писательской оригинальности, он ясно сознаёт, что ему “весьма некстати строго критиковать Пушкина”.

То чувство уважения и восхищения перед Пушкиным <...> вряд ли могло возникнуть от зависти к сопернику. И ничто не указывает на то, что уважение Боратынского к Пушкину с годами уменьшилось. Напротив, оно становилось всё сильнее».

Боратынский был всего годом младше Пушкина, но однажды признался ему в письме, что пишет к нему с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут «к старшим». Это не иначе как следствие того внутреннего благоговения, которое он невольно испытывал к поэтическому дару Пушкина и его творениям. Повидимому, то же самое испытывал Боратынский и при личных встречах, несмотря на самые короткие товарищеские отношения. «Пушкин здесь и я ему отдал ваш поклон, – писал он Вяземскому в 1829 году. – <...> Я с ним часто вижусь,

но вы нам очень недостаёте. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух математических линий. Необходима третья, чтобы составить какую-нибудь фигуру, и вы были ею».

С годами они встречались всё реже, от случая к случаю и, понятное дело, несколько отдалились друг от друга. У обоих появились свои семьи и хватало житейских забот; каждый шёл своим путём в литературе. Что до личных взаимоотношений, они не прерывались, но, естественно, не могли остаться такими, как в беспечной молодости. Чувства – вещь чрезвычайно тонкая, переменчивая, тут всё – по наитию, по настроению, по прихотям памяти, по стечению обстоятельств места и времени. Но одно дело жизнь – и совсем другое поэзия: жизнь разводила в стороны, а поэзия сближала...

Скорбь по Пушкину была у Боратынского искренней, сильной, глубокой – непреходящей. Поначалу, как заметил М. Л. Гофман, поэт попросту негодовал, как друзья Пушкина могли допустить его смерть, – «<...> и впал в состояние, близкое к отчаянию и болезни души».

Узнав, что в Петербурге издаётся 5-й том «Современника» в память Пушкина и в пользу его семьи, Боратынский отправил Вяземскому своё едва законченное стихотворение «Осень» – одно из самых прекрасных и глубоких своих произведений. «Препровождаю вам, – писал он, – дань мою “Современнику”. Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения <...>».

Не случись благотворительного издания, Боратынский наверняка бы ещё долго отделял это большое и сложное стихотворение, прежде чем отдать его в печать. Потому поэт и объяснился вдруг Вяземскому, невольно приоткрыв свои творческие тайны: «Всякий работает по-своему. Лирическую пьесу я с первого приёма всегда набрасываю более чем с небрежностью; стихами иногда без меры, иногда без рифмы, думая об одном её ходе, и потом уже принимаюсь за отделку подробностей. Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию. Многим в ней я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе. Препоручаю себя вашей дружеской памяти <...>».

Смерть – *всех загадок разрешенье*; она разом выявляет сущность и значение человека в той полноте, что прежде была недостижима. Опадает шелуха привнесённых жизнью личин – проступает *лик*.

Вяземский недаром прозрел лишь по кончине Пушкина – признавшись, что поэт не был понят при жизни даже его друзьями, не говоря о людях к нему равнодушных. И Боратынскому истинный Пушкин – открылся только по смерти...

Через три года, в феврале 1840-го, Боратынский приехал в Петербург. Остановился в доме Путят на Почтамтской улице, близ Исаакиевского собора. С Николаем Путятой они к тому времени породнились: друг его финляндской молодости, к радости поэта, женился на его свояченице, Соничке Энгельгардт, и у них уже подрастала малышка дочь. Вскоре Боратынский побывал в гостях у Жуковского: вместе они разбирали ненапечатанные стихи Пушкина. Боратынский был потрясён, когда прочёл их:

«<...> Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою, – писал он жене, Настасье Львовне, 6 февраля. – Все последние пьесы его отличаются,

чем бы ты думала? Силою и глубиною! Он только что созрел. *Что мы сделали, Россияне, и кого погребли!* – слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навёртывались слёзы художнического энтузиазма и горького сожаления <...>».

Эти скорбные и торжественные – *высокопарные* – слова звучат посреди в общем-то бытового отчёта жене о прожитом дне. Снова, как и в 1825 году, Боратынский сравнивает Пушкина с Петром Великим.

Николай Васильевич Путята вспоминал, что Жуковский, коему государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал тогда Боратынскому одну из рукописных тетрадей *in folio* в переплёте. В ней был и неизвестный поэту набросок статьи о нём. «<...> Тетрадь эта оставалась у последнего самое короткое время; он был уже в отъезде и просил меня тотчас возвратить её Жуковскому, что я и исполнил. Кроме помянутого отрывка, в этой тетради находились некоторые другие статьи в прозе и клочки дневника Пушкина разных годов. Помню из него почти слово в слово следующие места: 1) число, месяц. “Сегодня приехали в Петербург два француза, Дантез и маркиз Пинна”. В этот день ничего более не было записано. Что замечательного мог найти Пушкин в их приезде? Это похоже на какое-то предчувствие! <...>»

7 февраля Боратынский провёл утро с Вяземским: говорили о Пушкине. Вяземский предложил ему навестить вдову поэта, сказав, что она очень признательна всем старым друзьям мужа, которые посещают его дом. Боратынский намеревался это сделать, но вскоре повстречал Наталью Николаевну в салоне Карамзиных. «<...> Вяземский меня к ней подвёл, и мы возобновили знакомство, – сообщал он жене. – Всё также прелестна и много выиграла от привычки к свету. Говорит ни умно ни глупо, но свободно. Общий тон общества истинно удовлетворяет идеалу, который составляешь себе о самом изящном, в молодости по книгам. Полная непринуждённость и учтивость, обратившиеся в нравственное чувство. В Москве об этом не имеют понятия <...>».

По приезде Боратынский писал к маменьке в Мару, что возвратился из Петербурга в лучшем настроении, нежели мог ожидать. Откуда это настроение? Не от новых ли стихов Пушкина и той недописанной пушкинской статьи о поэзии Боратынского?..

Нет сомнений в том, что Боратынский всегда относился к Пушкину с любовным уважением, даже когда порой критически высказывался в своих письмах о его творчестве. То была не завистливая ревность к товарищу по перу, свойственная тщеславным писателям мелкого разбора, а ревностная любовь к собрату по Парнасу. От гениально одарённого он и ждал гениальных сочинений, оттого был особенно требовательным. Зато и восхищался гением, как никто другой.

*Поздний* Пушкин, прежде неизвестный Боратынскому, что предстал перед ним в феврале 1840 года в Петербурге, восхитил как никогда. Он увидел поэта, достигшего истинных высот духа и мастерства, познавшего жизнь вполне, с мужеством и смирением христианина принимающего всё, что посылает ему судьба. *Вовсе новые духом и формою* стихи Пушкина были необыкновенно звучны и его собственным мыслям и настроениям. «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Не дай мне Бог сойти с ума...», «Отцы пустынноики и жёны непорочны...», «Напрасно я бегу к сионским высотам...», «Когда за городом задумчив я брожу...», «Из Пиндемонта» («Не дорого ценю я громкие права...»),

«Подражание итальянскому» («Как с дерева сорвался предатель ученик...»), «Памятник», «Мирская власть» – все эти шедевры Пушкин хранил только для себя и не отдавал в печать, на пустое любопытство досужей толпы, которая всё равно толком ничего не поймёт.

Боратынский осознал эти стихи как поэтическое завещание русского гения, при жизни не понятому по-настоящему никем.

Отвратительное равнодушие части общества к погибшему Пушкину мучило его и вызывало возмущение. Это отразилось в заключительных строфах стихотворения «Осень», которое поэт дописывал в феврале 1837 года:

<...> Но не найдёт отзыва тот глагол,  
Что страстное земное перешёл.

## 15

Пускай, приняв неправильный полёт  
И вспять стези не обретая,  
Звезда небес в бездонность утечёт;  
Пусть заменит её другая;  
Не яствует земле ущерб одной,  
Не поражает ухо мира  
Падения её далёкий вой,  
Равно как в высотах эфира  
Её сестры новорождённый свет  
И небесам восторженный привет! <...>

В 1841 году ему припомнились народные гуляния в Новинском под Москвой: там они были с Пушкиным в сентябре 1826-го, когда тот вернулся из псковской ссылки. Нарядная толпа разглядывала знаменитого поэта... а вот когда он погиб – далеко не все пожалели его. Боратынский заново переработал своё старое стихотворение, посвящённое другу. В первом варианте, 1826 года, «красота» своей улыбкой оживляет поэта, – в новых стихах всё загадочней, и, даже если речь по-прежнему о *красоте*, она оказывается – роковой, губительной. Но, может, тут говорится уже о судьбе?..

Она улыбкою своей  
Поэта в жертвы пригласила,  
Но не любовь ответом ей,  
Взор ясный думой осенила.  
Нет, это был сей лёгкий сон,  
Сей тонкий сон воображенья,  
Что посылает Аполлон  
Не для любви – для вдохновенья.

А ещё через два года Боратынский написал одно из самых горьких своих стихотворений – о посмертной судьбе поэта. О ком оно?.. то ли о Пушкине, то ли о себе самом...

Когда твой голос, о поэт,  
Смерть в высших звуках остановит,  
Когда тебя во цвете лет  
Нетерпеливый рок уловит, –

Кого закат могучих дней  
Во глубине сердечной тронет?  
Кто в отзыв гибели твоей  
Стеснённой грудию восстонет,

И тихий гроб твой посетит,  
И, над умолкшей Аонидой  
Рыдая, пепел твой почтит  
Нелицемерной панихидой?

Никто! Но сложится певцу  
Канон намеднишним зоилом,  
Уже кадящим мертвецу,  
Чтобы живых задеть кадилом.

### Нечистые догадки

Давно известно: лучшее в человеке, *Божие*, притягивает бесов.

Спустя полвека с лишним досужие нечистые догадки, в которые лениво маскировалась пошлая клевета, попытались замарать ту чистоту чувств, с которой относился Боратынский к Пушкину...

Всё началось, наверное, с одного восклицания Павла Воиновича Нащокина, близкого друга Пушкина.

1 октября 1851 года с ним и его женой, Верой Александровной, встретился историк Пётр Иванович Бартенев, собиратель воспоминаний о Пушкине. В той первой их беседе Нащокин среди прочего неожиданно заметил, что Боратынский с Пушкиным «<...> не был искренен, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал».

Переписанную в тетрадь беседу Бартенев дал прочесть не менее давнему другу поэта, Сергею Александровичу Соболевскому, – и тот на полях напротив этих слов написал: «Это сушая клевета!»

В самом деле, мнение Нащокина никто и никогда не подтверждал: все современники поэтов были уверены в том, что между Пушкиным и Боратынским всегда были добрые отношения. Да и сам Павел Воинович, за семь лет до этой беседы, был совершенно иного мнения о Боратынском. 21 августа 1844 года, под впечатлением его неожиданной смерти, он писал старому другу поэта, Н. М. Коншину:

«Истинно добрый и почтенный Николай Михайлович, прежде чем благодарить тебя за твоё ко мне внимание, погорюем о Баратынском – и его не стало. Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с

Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал: “Ну, Войныч, держись: в наши ряды постреливать стали”. Многих из товарищей твоих и общих наших уже нет на свете, о которых не говорят и говорить не будут; *слава же, известность и некрология* не умолкнут повторять имён Пушкина, Дельвига и Баратынского в дальнейшее время потомства; но много ли людей осталось, которые бы могли помянуть их как товарищей и друзей по сердцу и по душе; все трое были нам близки, но ты был ближе всех к Баратынскому, и, можно сказать, в единственно интереснейшую эпоху его жизни. Итак, любезный друг Коншин, оставим журналистам, газетчикам и лексиконистам славословить или поминать их лихом... а мы с тобою помянем их, во-первых, как христиане... а во-вторых, помянем их как друзей и товарищей нашей беспечной и добросовестной молодости: спасибо им, что пожили с нами и любили нас <...>».

Что же такое вдруг нашло на *Войныча*, что он переменял своё мнение на противоположное?..

Стоит учесть, что к 1851 году он был уже весьма больной человек (скончался через три года): что-то могло исказиться в его памяти...

Бартенев никак его не расспросил насчёт этих слов, – так они и пошли кочевать по его книгам, и, что совсем худо, в переизданиях мнение Соболевского выпало из текста (издатели не утруждают себя «лишними» репликами), и *сухая клевета* осталась даже без возражения.

Скорее всего, никто тогда, в первые годы, и не обратил на неё внимания, до того она казалась нелепой.

Но прошло полвека с лишним, и случайно оброненное крапивное семя проросло: его, всячески удоблив, выходил писатель Иван Щеглов. В 1900 году он напечатал в одной из петербургских газет статью «Нескромные догадки», в которой выставил Баратынского тайным предателем и врагом Пушкина, что вредил ему из зависти, – таким отравителем Сальери при беспечном Моцарте.

Сам Щеглов сознавался, что «фактические данные на этот счёт крайне скудны, зато психологические, так сказать, “междустрочные данные”, в высокой степени характерны и значительны». То есть мало того, что без стеснения объявил о том, что у него нет никаких фактов для обвинений, но ещё и похвалил сам себя за «проницательность».

Если уж говорить о *психологических данных*, то они напрямую касаются самого Щеглова: наглость и извращённое воображение сделало его банальным клеветником. Тут всё по русской поговорке: *свинья грязь найдёт*.

Даже обычно сдержанный в выражениях Гейр Хетсо в этом случае не выдержал:

«Автор статьи, несмотря на то, что в подтверждение своих высказываний не может привести никаких доказательств, уверенно заявляет, что Пушкин в трагедии *Моцарт и Сальери* изображает себя в образе Моцарта, а в образе Сальери Баратынского. Как Сальери отравил Моцарта, так и Баратынский якобы “отравил” Пушкина своей “завистью” и “вероломством”. Статья Щеглова не что иное, как злостная и ни на чём не основанная клевета на Баратынского. Об уровне аргументации Щеглова говорит и то обстоятельство, что он не брезгует даже враждебными намёками на польское происхождение Баратынского и, вопреки фактическим данным, уверяет, что Баратынский в своё время не захотел оказать материальную помощь Гоголю <...>».

Странно, что этим «нескромным догадкам» тут же, не разобравшись, посочувствовал В. В. Розанов, – не иначе его подвело газетно-журнальное многописание. Превратно истолковав письмо Боратынского к Киреевскому с критикой «Евгения Онегина», Розанов, по сути, одобрил измышления Щеглова да ещё и дополнил их своими *догадками*, легковесными и сомнительными:

«В самом деле, отчётливы отношения к Пушкину Языкова, Дельвига, Пушкина (он-то при чём, когда речь о писателях? – В. М.), горе по нём Гоголя, стихи о нём Лермонтова; но один друг, о котором сам Пушкин высказал самые шумные похвалы в печати (заметим, что при жизни Пушкина до печати дело не дошло. – В. М.), всегда выдвигая его с собой и почти вперёд себя, до сих пор оставался в тени и не рассмотренным в своём обратном отношении к Пушкину. В то же время Пушкин время от времени вскрикивал от боли какой-то “дружбы” и наконец запечатлел мучительное и долгое её впечатление в диалогах поразительной глубины. Догадки г. Щеглова так интересны и многозначительны, что хочется, чтобы он приложил дальнейшее усердие к их разработке. Они очень правдоподобны, и мы должны быть благодарны автору уже за то, что он наводит мысль исследователя, открывает дверь исследованиям».

Опять-таки, что за морок нашёл на Василия Васильевича Розанова, который в общем-то был самого хорошего мнения о Боратынском? (Так, своего горячо любимого учителя Н. Н. Стрхова он сравнил не с кем-нибудь, а именно с поэтом, назвав Стрхова «Баратынским нашей философии» и пояснив свой образ следующими словами: «Есть какое-то несравненное изящество и благородство в чертах их обоих, в трудах их; и мы охотно отвращаемся от более звонких, но неустроенных струн, чтобы сосредоточиться на этих – где нас ничто не оскорбляет, не мучит, не раздражает и не смущает; где, наконец, нас ничто не **обманывает**».)

Между тем «наводка» Розанова подействовала: к полемике, правда неохотно, подключился поэт Валерий Брюсов. Разбираться в сути вопроса он также не стал, а взял себе то, что занимало тогда его мысли о двух типах поэтов – интуитивного и рефлектирующего. Пушкина он относил в первому типу, Боратынского – ко второму. Брюсову пригодилось сравнение одного – с Моцартом, а другого – с Сальери. Его комментарии были весьма противоречивы, но Гейру Хетсо показалось, что Брюсов отверг «бесстыдные догадки» И. Щеглова. Это не так: мнение Брюсова половинчато.

Так долгие годы и тлела полузатушенной эта искра клеветы; если кто порой и пытался её раздуть, то без успеха: нелепое занятие... Но и достойного разбора «нескромных догадок» – не было.

Лишь недавно, в 2012 году, писатель Иза Кресикова написала глубокую и аргументированную статью «По следам тенденциозных догадок...». На слова Брюсова о том, что Боратынский всегда сознавал величие Пушкина, но «никогда не упускал случая отметить то, что почитал у Пушкина слабым и несовершенным», Кресикова заметила:

«Да что же в этом вероломного? Они – литераторы, значит и критики. Всё естественно. Но Брюсов без протеста присоединяется к обвинениям Боратынского (имеются в виду Щеглов и Розанов) в зависти к Пушкину и к тому, что “Сальери Пушкина списан с Баратынского...”», то есть поэта, который по-

долгу трудился над своими стихами и не мог, будто бы, без зависти вынести крылатость пушкинского дара.

Ну, то, что и у Пушкина, и у Баратынского, если стихи поначалу и сыпались с небес, а затем обдумывались и отделялись с помощью высокого ремесла, теперь уже известно и не пушкинистам».

И. Кресикова в подробностях разбирает все доводы Щеглова – и убедительно их опровергает.

В конце своей статьи Иза Кресикова обращается к природе творчества, к соотношению труда и вдохновения:

«<...> Щеглов в “догадках” констатирует: “Самый процесс писания стоил Баратынскому мучительного труда и огромной подготовки <...>”. Поддерживающий Щеглова Розанов замечает, что в этом-то и есть главная трагедия Баратынского-Сальери: “Сальери глубок, но Сальери не даровит тем особенным <...>, почти случайным даром <...>, который творцу ничего не стоит...” И оба литератора, увлечённые разоблачением, заверяют читателей, что именно “райские видения” Моцарта-Пушкина являются предметом бесконечной зависти Сальери-Баратынского и всей его недоброжелательности к Пушкину».

Вывод И. Кресиковой справедлив: «открытия» Щеглова с толкованиями их Розановым – тенденциозны; Щеглов извратил и смыслы стихов Боратынского и его писем «в угоду своей действительно нескромной “увлечённости”».

«<...> Нынче большинство пушкинистов знает, – пишет в заключение И. Кресикова, – что гений Пушкина включал в себя и “райские видения” вдохновения (впрочем, Пушкин называл это “быстрым соображением понятий”!) и отделку этих видений, прибегая к кропотливому ремесленничеству – труду. Ни один из обсуждаемых здесь поэтов – ни Баратынский, ни Пушкин – не мог завидовать другому. Они знали и ценили в себе и друг в друге тайны поэтического взлёта и ремесла.

И именно об этом, вероятно, хотел сказать Мандельштам своей фразой: “В каждом поэте есть и Моцарт, и Сальери”. Конечно, в миг произнесения он и о себе подумал. И Анна Ахматова без возражений согласилась с естественной сутью такого понимания творцов и творчества. Конечно, в естестве этой сути труда и вдохновения может возникнуть и зависть, чёрная или белая (“хорошего роду”). В “Моцарте и Сальери” она – самая страшная. Но несмотря ни на что, трагедия “Моцарт и Сальери” – не только о зависти. Она о многом в человеческой жизни, и главное – о добре и зле. Наши “отгадки” на “догадки” И. Л. Щеглова тоже о добре и зле».

На грязной возне, затеянной некогда недобросовестным автором вокруг имени Боратынского, наконец-то поставлен крест.

### На предельной высоте

Гениальное стихотворение Боратынского «Осень» (1837 – <1841>) отдалённо перекликается с другим гениальным стихотворением – пушкинской «Осенью» (1833). Прежде всего – благоговейным созерцанием природы, по-осеннему просторным оглядом жизни.

У Пушкина:

7

Унылая пора! очей очарованье!  
Приятна мне твоя прощальная краса –  
Люблю я пышное природы увяданье,  
В багрец и в золото одетые леса –  
В их сенях ветра шум и свежее дыханье  
И мглой волнистою покрыты небеса  
И редкий солнца луч – и первые морозы  
И отдалённые седой зимы угрозы.

У Боратынского:

3

Прощай, прощай, сияние небес!  
Прощай, прощай, краса природы!  
Волшебного шептанья полный лес,  
Златочешуйчатые воды!  
Весёлый сон минутных летних нег!  
Вот это в рощах обнаженных  
Секирою тревожит дровосек,  
И скоро, снегом убранных,  
Своих дубров и холмов зимний вид  
Застылый ток туманно отразит.

Совершенные стихи! – как у того, так и у другого. Непревзойдённые по гармонии, по звучанию, по красоте!..

Если у Пушкина всё напоено упругой радостью ощущений, здоровой бодростью духа (Пушкин особенно любил это время года: осенью он – *творил*), то осень Боратынского – пора прощания с жизнью, с надеждами, пора подведения итогов прожитого – и они горьки, печальны, трагичны.

«Осень» Пушкина – волнующее и радостное предчувствие творчества, вдохновения, которое вот-вот, словно корабль под надутыми парусами, понесёт поэта в неизвестное (знаменитая последняя строка, обрывающаяся в эту неизведанность: «Плывёт. Куда ж нам плыть?..»), – «Осень» же Боратынского тоже затрагивает судьбу художника, но иначе: он уже отягощён «хладным опытом» и оторван, как палый лист, от земного, он уже в других пределах – *в краю возмездий*.

*Земное*, в чистом виде, это простодушный мир селянина, о котором говорится в первых строфах: его святое торжество – по осени собрать урожай и вкусить с семьёй в тёплой избе «хлеб-соль и пенистую брагу», благословенный плод своих трудов.

Но у художника, тоже некогда лелеявшего «сны позлащённые», совсем другие *приобретенья*:

<...> Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским  
Тобой скоплённые презренья,

Язвительный, неотразимый стыд  
 Души твоей обманов и обид!

## 8

Твой день взошёл, и для тебя ясна  
 Вся дерзость юных легковерий;  
 Испытана тобою глубина  
 Людских безумств и лицемерий.  
 Ты, некогда всех увлечений друг,  
 Сочувствий пламенный искатель,  
 Блистательных туманов царь – и вдруг  
 Бесплодных дебрей созерцатель,  
 Один с тоской, которой смертный стон  
 Едва твоей гордыней задушён. <...>

Садись один и тризну соверши  
 По радостям земным своей души! <...>

Художник Боратынского, *последний* поэт, поверяется самым суровым испытанием – испытанием духовным:

## 13

Пред промыслом оправданным ты ниц  
 Падёшь с признательным смиреньем,  
 С надеждою, не видящей границ,  
 И утолненным разуменьем, –  
 Знай, внутренней своей вовеки ты  
 Не передашь земному звуку  
 И лёгких чад житейской суеты  
 Не посвятишь в свою науку;  
 Знай, горняя иль дольная, она  
 Нам на земле не для земли дана. <...>

Его взору открывается беспощадная правда и о земном, и о самом себе:

## 16

Зима идёт, и тощая земля  
 В широких лысинах бессилья,  
 И радостно блиставшие поля  
 Златыми класами обилья,  
 Со смертью жизнь, богатство с нищетой –  
 Все образы години бывшей  
 Сравняются под снежной пеленой,  
 Однообразно их покрывшей, –  
 Перед тобой таков отныне свет,  
 Но в нём тебе грядущей жатвы нет!

Это большое, в 16 величественных строф, стихотворение необыкновенно музыкально: оно звучит как симфония. В нём незримо присутствует и державинская мощь выражения, и ломоносовская глубина думы, и пушкинская гармония, но в целом оно – по мысли и по духу – совершенно *боратынское*. При всей предельной безнадежности мыслей и чувств это всё же не реквием по напрасно утраченной жизни. Воплощение словом пережитого, осознание правды, какой бы она ни была, – путь к истине, к дальнейшей жизни.

«Осень» была напечатана в журнале «Современник» и произвела сильное впечатление на читателей. Степан Шевырёв, до того весьма холодно отзывавшийся о стихах Боратынского, сразу же по выходе «Осени» в печать написал пространную статью о поэте:

«<...> Направление, которое принимает его муза, должно обратить внимание критики. Редки бывают её произведения; но всякое из них тяжко глубоко мыслю, отвечающею на важные вопросы века. Баратынский был сначала сам художником формы; вместе с Пушкиным, рука об руку, по живым следам Батюшкова и Жуковского, он содействовал окончательному образованию художественных форм стихотворного языка. Но теперь поэзия Баратынского переходит из мира прекрасной формы в мир глубокой мысли: его муза тогда только заводит песню, когда взволнована, потрясена важною таинственною думою. Она вносит в этот новый мир красоту прежних форм, но эти формы как будто тесны для широких дум поэта. Лёгкий дух слишком хрупок и ломок, чтобы служить оправой полновесному алмазу мысли. Ещё не всегда ей покорный, он иногда даже тёмнен и непонятен простому глазу: впрочем, свойство глубины – темнота. Но зато, когда мысль совершенно одолевает стих и заставит его во всей полноте принять себя, тогда-то блещет во всей силе новая поэзия Баратынского и рождаются такие строфы, которых не много в русской поэзии. <...> В этом глубокомысленном стихотворении сходятся два поэта: прежний и новый, поэт форм и поэт мысли. Прежний заключил бы прекрасным описанием осени, которое напоминает своими стихами лучшие произведения Баратынского-описателя, его “Финляндию” особенно. Новый поэт переводит пейзаж в мир внутренний и даёт ему обширное, современное значение: за осенью природы рисует поэт осень человечества нам современную, время разочарований, жатву мечтаний. <...> Пьеса, подающая повод к таким наблюдениям, свидетельствует зрелость таланта. Поэт не хотел окончить хладною картиною разочарования: он чувствовал необходимость предложить утешение. Мысль, развитая далее и едва ли для всех доступная, есть следующая: чем бы ни кончилось твоё разочарование, знай, что ты не передашь тайны жизни миру. <...> Тайна каждой души в ней самой: бесконечное выражено быть не может. – Не потому ли так тёмнен и конец этого замечательного стихотворения? Много мыслей не досказано здесь, но мы уверены, что поэт когда-нибудь их доскажет: ибо, как мы думаем, между вдохновениями истинного лирика есть непрерывная невидимая цепь, которая связывает его отрывки в одну большую и полную поэму, где герой – душа самого поэта».

Другой критик, Николай Полевой, в своём обзоре о русской литературе за 1837 год привёл цитату из стихотворения – и изумлённо вымолвил лишь несколько слов: «Голос Баратынского услышали мы в “Осени” и – почти не узнали его».

В конце 1837 года в одной из германских газет был напечатан отрывок из книги Г. Кёнига, посвящённый Боратынскому; автор рассказал о его жизни и

творчестве, заметив, что многие его стихи превосходны. «Всё, что он написал в последние годы, отличается поэтической глубиной и серьёзностью, граничащей с меланхолией, проникновением в душу каждого явления, и одновременно выражает тонкий аналитический дар поэта. – Не подвергая сомнению оригинальность поэзии Баратынского, осмелимся назвать его русским Бальзаком в стихах <...>».

Не Бог весть что за сравнение да к тому же и странное. Впрочем, Кёниг, как оказалось, немного прибавил от себя. Позже Н. А. Мельгунов написал А. А. Краевскому, что представлял Кёнигу Боратынского как поэта элегического в первом периоде творчества, который, однако, «<...> в своём втором периоде возвёл личную грусть до *общего* философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества. “Последний поэт”, “Осень” и пр. это очевидно доказывают».

Замечательное уточнение!

Мельгунов первым определил то качество, что было тогда понятно очень немногим: лирика Боратынского стала принадлежать всему человечеству.

### Усталость

Николай Коншин, повидавший поэта в 1837 и 1839 годах, заметил, что его старый друг «страшно поседел», но «душа его сохранила прежнее созвучье ко всему прекрасному».

Гейр Хетсо, внимательно изучив немногие портреты поэта, пришёл к выводу, что в сорокалетнем возрасте Боратынский «кажется стариком», дескать, жизненные бури наложили на него свой отпечаток и от прежнего мечтательного романтика, которым он глядит с юного портета, почти ничего не осталось.

Однако на «взрослых» портретах лицо Боратынского всё время другое: он мало похож на самого себя. Должно быть, поэт *не давался* портретистам, ускользал от их пера и кисти. Это не удивительно, если вспомнить об изменчивости его настроений и глубине и тонкости его души. Стариком он, конечно, ещё не был, но изрядно устал – и, быть может, не столько от жизни внешней: частых поездок, хлопот помещика и семейных обязанностей, – сколько от жизни внутренней: резкости и глубины переживаний.

Усталость с годами наваливалась и всё сильнее томила душу. А ведь Боратынскому некому было толком даже рассказать об этом: сердечных друзей не осталось, жену он вряд ли бы решился тревожить. Лишь в стихах, в их интонации всё вырывалось наружу, да ещё, изредка, в письмах, где поэт порой невольно проговаривался о своём состоянии.

В июле 1837 года у младшего брата Сергея, живущего в Маре, случился некий душевный кризис. Боратынский сильно встревожился; и когда сосед по имени Н. И. Кривцов проявил участие в судьбе брата, горячо благодарил его за это внимание: «<...> К вашему голосу он прислушается более, чем к чьему-либо другому. Впрочем, по моим понятиям, самый опасный момент уже миновал. Меланхолическое неистовство имеет свою критическую точку и не может длиться долго, оно непременно сменяется упадком сил». Не о себе ли тут ненароком что-то сказано?..

А в 1839 году в письме к П. А. Плетнёву, испытанному и старому товарищу, Боратынский выговорился напрямую:

«Милый мой, всегда по-старому милый Плетнёв! Родственница моя Путята пишет мне, что ты на меня сердисься. Спасибо тебе за это. Кто сердится, тот помнит, а может быть, любит. <...> Можешь ли ты думать, что прошедшее мною забыто? Что бы после этого помнить! Но судьба <...> бросила меня потом и в свет, и в мелочи обыкновенной жизни. Мужем мне нужно было учиться тому, чему учатся дети, понимать отношения, приобретать привычки, угадывать то, что другие твёрдо знают. Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения. Я утомился, впал в хандру. Не тебя я поставил в уровень с людьми, которых узнал после; но при новых впечатлениях, которых постепенность и связь тебе неизвестна, при этой долгой и сложной повести, которая меня так глубоко изменила, с чего начать? Как передать себя дружбе давних лет, а не хочется посылать холодные и неполные строки. Не по этой ли причине старики молчаливы? Вся эта болтовня значит в крайнем выводе: ты, дружба твоя, память прошедшего мне драгоценны, а если в какую-либо минуту тебе показалось иначе, тебя обманывала наружность <...>».

Лямка жизни обыкновенной оказалась потяжеле былой неволи...

По смерти тестя, Л. Н. Энгельгардта, всё управление поместьями перешло к Боратынскому; женитьба Николая Путяты на Софье Энгельгардт не убавила ношу: Путяты жили в Петербурге, в делах не участвовали, зато каждое решение нужно было с ними обговаривать, как с совладельцами имений. А в Маре брат Сергей помощником тоже не был – и там всё лежало на плечах Евгения как старшего из мужчин в семье.

Боратынский мечтал вырваться из этого тягостного *вихреверженья* – уехать за границу. В мае-июне 1838 года он пишет матери в Мару о желании повидать чужие края – Германию, страну поэтов и мыслителей, и благословенную Италию, к которой манило с детства: «<...> Мне тяжело расставаться с семьёй, но это путешествие – нравственный долг перед самим собой, ибо настанет, может быть, эпоха, когда я упрекну себя в том, что не сделал этого вовремя».

Но денег на это путешествие нет – да и надо перестраивать московский дом на Спиридоновке. Всё лето 1838 года поэт занят строительством и ремонтом. Свалив наконец это ярмо, он зарёкся навсегда связываться с московскими рабочими, «жуликами и наглецами».

В следующем 1839 году Боратынские намереваются переехать на зиму в Одессу, посетить южный берег Крыма, пожить там года полтора, полечиться, укрепить здоровье детей. От частых родов Настасья Львовна «расстроила нервы», и врачи прописали ей морские купания; да и муж сдал за последние годы... «Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной, – признавался поэт Плетнёву. – Думаю опять приняться за перо, и, если всё, что скопилось у меня в уме и легло на сердце, найдёт себе исход и выражение, надеюсь быть добрым слугою “Современника”».

Но и эта поездка не состоялась...

Вместо желанного покоя поэт занят поиском учителей и губернёров для детей, составлением опекунских отчётов для свояченицы Сонички, разборами со старостами и управляющими в поместьях. «<...> Точно ли почти весь каймарский

овёс жат в прозелень и не годится ни на пищу, ни в продажу <...>» – вот образец его тогдашней деловой прозы. Вместо «пера» он занят перестройкой мельниц, определением величины крестьянского оброка...

В декабре 1839 года в Москву приехал Николай Коншин: навестил Боратынского, и вместе они отправились в Английский клуб, устроили застолье в «уединённой комнате».

Коншин впоследствии вспоминал:

«Вслед за этим я провёл у него вечер. Это был вечер, на котором мы простились до свидания там, где позволено надеяться свидания христианину. Мы сидели в кругу его милого семейства, все около стола, и вдруг, совсем неожиданно, лампа, перед нами стоящая, погасла и оставила нас в тёмной комнате. – Люди суеверные не разделят ли со мной чувства, что эта догоревшая неожиданно лампа была для меня голосом неба».

### Глава двадцать третья НА БЕРЕГАХ РЕКИ СУМЕРЬ

#### Сияние и тьма

«Ещё, как патриарх, не древен я...» – задумчиво шутил Боратынский, обращаясь с коротким посланием к некоей «деве красоты» и давая ей своё «благословенье» древним – *патриаршим* – слогом.

В другой раз ему просто напелась песня: её то ли навеял ему старинный русский язык, то ли выдохнула из своих глубин кровная память:

Были бури, непогоды,  
Да молодые были годы!

В день ненастный, час гнетучий  
Грудь подымет вздох могучий,

Вольной песнью разольётся,  
Скорбь-невзгода распоётся! <...>

Но уж, видно, и песнопенье не разрешает – не лечит скорбь-невзгоду болящего духа...

А как век-то, век-то старой  
Обручится с лютой карой,

Груз двойной с груди усталой  
Уж не сбросит вздох удалой,

Не положишь ты на голос  
С чёрной мыслью белый волос!

(1839)

Давно поблекли его *румяные* дни; потускнел свет в душе, – и в самих стихах будто бы закатывается солнце. Они всё откровеннее, беспощаднее...

На что вы, дни! Юдольный мир явленья  
Свои не изменит!  
Все ведомы, и только повторенья  
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,  
Развитием спеша,  
Свой подвиг ты свершила прежде тела,  
Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений  
Сомкнувшая давно,  
Под веяньем возвратных сновидений  
Ты дремлешь, а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,  
Без нужды день сменя,  
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,  
Венец пустого дня!

(1840)

Грёзы о молодости – возвратные сновиденья – навевают лишь дремоту; утро, с его наивным светом, уже бессмысленно, коль скоро его сменит бесплодный вечер и мрак ночной.

Притяжение пожизненной бездны, где пустота, тьма...

И в повседневности тех лет сшибка света и мрака всё необратимее. Жизнь, как солнце к закату, клонится к этой бездне.

Рождение дочери Юлии (сентябрь 1837 года) – и вскоре потеря малышки Софи. «<...> Я уже давно разуверился в её выздоровлении, но жена моя всё не могла расстаться с надеждой, и в роковую минуту ещё питала иллюзии. Оба мы много выстрадали <...>» – пишет он матери в конце сентября 1838 года (*перевод с французского*).

Радостная для Боратынских свадьба Николая Путяты и Софьи Энгельгардт – и печальная кончина Ивана Ивановича Дмитриева (Боратынский был на отпевании незабвенного ему поэта в Донском монастыре). Потом смерть «старой Пашковой», Евдокии Николаевны, доброй, гостеприимной барыни, дом которой они с Настасьей Львовной так любили, где по-старинному привечали всю до-стопочтенную и молодую Москву.

В мае 1839-го из Симбирской губернии пришла весть о смерти Дениса Васильевича Давыдова.

Скорбные утраты множились – радости убывали...

В романе Дмитрия Голубкова «Недуг бытия», посвящённом Боратынскому, описывается прогулка поэта близ речушки Талицы в окрестностях Мураново, как потом выбрел он к другой речке, течением посильнее. Запущенный редкий

лесок, кусты бузины и черёмухи, овраги, болотины... Крестьянская изба, серая от дождей... брюхатая баба в панёве на пороге...

«— Скажи, а как речка ваша называется?»

— Сумерь прозывается река-т. Сумерь, батюшка. А овраг и все места округ — Сумерьки <...>».

Далее автор видит своего героя шагающим наобум к лесу, продирающимся сквозь цепкий кустарник:

«Впереди посветлело: берёзы разрешили сумрак. Чёрная вода тускло проблескнула отраженьем белизны — словно старческое бельмо, глянула из кудлатых зарослей.

Это была старица, полная мёртвой, неподвижной воды.

Он остановился на подагливом болотистом берегу.

“Вот жизнь моя, — подумал он. — Вот верная картина моего бытия...”

— А Настинька? Дети? Стихи мои? — спросил он и замер, суеверно вслушиваясь в овражную тишину.

“Всё бессмысленно, — прошелестел бесстрастный голос. — Всё недвижно, и вечна только смерть. Всё бессмысленно: созидание домов и храмов, книги и тупая баба, готовая разрешиться новой рабской жизнью. И эти липы, покорно принимавшие любые очертанья и так же покорно превратившиеся в полумёртвых химер. Ты жив, но могила обстаёт тебя и удушает твой ненужный дар. Не противься же. Остановись”.

Он закинул голову и двинулся сквозь тьму и враждебно шуршащую тишь».

Всё оно так могло и быть, разве что в мысли не заглянешь...

Так же мог произойти в жизни Боратынского и другой эпизод, в домашнем кабинете, связанный с этой прогулкой по берегу Сумери:

«<...> — Но где я бродил сейчас, дремлючи? — Он нахмурился, потирая взмокший лоб с обильными залысынами. — Да: мёртвый парк, дом... Сумерь. Сумерки. — Мрачно воодушевляясь, зашагал по комнате. — Сумерки... А не худо бы так окрестить мою новую книгу. Последнюю книгу. Да, да: последнюю! Разумеется — последняя. И точка будет поставлена наконец».

...До сего времени, как и два века назад, течёт близ Мураново невзрачная речка Сумерь.

Когда-то, в XV столетии, её называли в писцовых книгах — Соимирь; позже — Сомь, Сумерь, Сумер. А в XIX веке в межевых бумагах она обозначалась как Сумерка, Сумрак. Из финноугорского слова, что в переводе — «озеро», «река» (Сумерь вытекает из озера, потому так и назвали), имя этой речки по созвучию «впало» в русские смыслы и стало обозначать совсем другое: закатные часы, утрату света, медленное погружение во тьму.

И, наконец, река Сумерь невидимо «перетекла» в последнюю книгу Евгения Боратынского — «Сумерки». Такую же тихую и небольшую, всего в 26 стихотворений, но уже — вековечную.

Эта книга собиралась постепенно, по стихотворению, — а писались стихи в конце 1830-х — начале 1840-х годов всё реже и реже.

Душа словно привыкала к убыванию света; прибывающий мрак не тяготил; тьма, хоть и ужасала, но влекла своею тайной.

Толпе тревожный день приветен, но страшна  
Ей ночь безмолвная. Бойтся в ней она

Раскованной мечты видений своевольных.  
Не легковёрных грёз, детей волшебной тьмы,  
Видений дня боимся мы,  
Людских сует, забот юдольных.

Ощупай возмущённый мрак –  
Исчезнет, с пустотой сольётся  
Тебя пугающий призрак,  
И заблуждёнью чувств твой ужас улыбнётся. <...>

«Видения дня» – это *обыкновенная жизнь*, с её суетами и юдольными заботами. День тревожен – тьма волшебна. Ночь пробуждает мечты, безмолвие – слова. А дневная суета плодит свои химеры, наваливающиеся огромными облаками. Они грозятся раздавить, если ослабеешь душой. Они застыт истинный свет духа – и только мужество и воля способны пробиться к нему:

О сын фантазии! Ты благодатных фей  
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,  
Весёлый семьянин, привычный гость на пире  
Неосязаемых властей!  
Мужайся, не слабей душою  
Перед заботою земною:

Ей исполинский вид даёт твоя мечта;  
Коснися облака нетрепетной рукою –  
Исчезнет, а за ним опять перед тобою  
Обитатели духов откроются врата.

(«Толпе тревожный день приветен, но страшна...», 1839)

Почему же душа устремлена к этим двум равновеликим безднам – мраку и свету? Не потому ли, что чувствует: только там она может по-настоящему познать себя, достигнуть своих потаённых пределов:

<...> Две области: сияния и тьмы  
Исследовать равно стремимся мы <...>.  
(«Благословен святое возвестивший...», 1839)

И всё это происходит в *обыкновенной жизни* – в повседневном существовании, которое, хочешь или нет, нужно отбывать по законам толпы...

### Поездка в столицу

Впрочем, к этому существованию Боратынский приурочился – и настолько, что выказал и житейскую и деловую сметку.

Собственный дом на Спиридоновке он обустроил с возможным удобством и элегантно обставил модной мебелью, о чём не без довольства сообщает маменьке

в Мару. Дань высокосветскому вкусу весьма разорительна, однако, «сообразив это», он нашёл выход: сдал внаём первый этаж «тщеславцам» и получил искомые деньги на мебелировку. Кое-кто из гостей, посетив его «уголок», даже последовал этому примеру. Правда, сам поэт в письме к матери слегка подшучивает над своей «спекуляцией»: воображает, что его могут сравнить с мольеровским ловкачом, г-ном Жоссом, – и заранее готовит философический отпор: «<...> Но знаете ли, что можно отвечать? Что заблуждения рассеиваются и что сейчас многие были бы рады вернуться к своему собственному я, отсутствие которого всегда изгоняло из общества всякое простодушие и придавало общению беспримерную скуку, пошлость и холодность. Я уверен, что люди, вынужденные вращаться в свете, будут изумлены справедливостью этого замечания <...>» (перевод с французского).

То бишь и в светской жизни следует оставаться самим собой и не терять естественности поведения и присущего человеку здравого смысла.

Всё же дом с жильцами на первом этаже, наверное, не так мил, как прежде, когда его весь занимала собственная семья. Да и Москва уже опротивела своему *холодностью*: редакции кажутся ему враждебными, друзей не осталось, салоны скучны... Боратынского неодолимо потянуло в город его молодости – в Петербург: там верный Плетнёв, умный Вяземский... – и чудится: там нет ползучей житейской суеты...

И вот в начале 1840 года он снова едет в Петербург.

Конец января – не самая лучшая пора для свидания с городом, в котором не был пятнадцать лет, но Боратынский словно и не замечает погоды. Столько встреч!.. В столице брат Ираклий, невестки – жёны Ираклия и Николая Путяты, старые товарищи, с которыми прежде был «очень дружен». Он заранее готов к печальным впечатлениям, ведь многое переменялось за эти годы. Однако у поездки есть и «практический смысл». «<...> Я намерен выгодно продать Смирдину, единственному из наших издателей, располагающему капиталом, право на третье издание моих рифмоплетений, прибавив к ним ещё один том последних своих грехов, – пишет он маменьке, Александре Фёдоровне. – Деньги, при этом вырученные, весьма пригодятся для путешествия в Крым» (перевод с французского).

С потаённой настороженностью он встречается с теми, кого хотел увидеть. Видно, сказалось сугубое уединение в Москве и в своих поместьях, где общение замыкалось на жене Настеньке, с её подозрительностью ко всем на свете и непременным желанием отгородить мужа от всего, что не она и не семья. Но Боратынскому так искренне рады в доме Путяты, что он даже растрогался. Плетнёв тоже ни в чём не изменился в дружестве и в своём «святом простодушии»: он зовёт поэта «обедать *вдвоём*», – и Боратынский замечает в письме к жене: «Не правда ли, что этот зов целая характеристика?»

В столице, где он пробыл две недели, Боратынский каждое утро начинает с письма к Настасье Львовне: в подробностях описывает всё, что случилось за день, в шутку называя это своим «петербургским журналом». Сначала полный отчёт жене, а потом визиты.

У Одоевского он повстречался с Вяземским; вместе слушали чтение повести Сологуба «Тарантас»: нимало не понравилось. Ему представили Мятлева, которого Боратынский знал по его шуточным стихам: ожидал увидеть перед собой

молодого повесу, а тот оказался «человеком важным», лет сорока пяти, – и в эти-то годы «придворный забавник». «<...> Познакомился с Лермонтовым, который прочёл прекрасную новую пьесу; человек без сомнения с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушное, московское, – сообщает жене 4 февраля. – Мятлев читал своё путешествие г-жи Курдюковой по чужим краям, в стихах, вперемешку русского с французским. Много весёлости, и он мастерски читает. Потом тешил всех разного рода анекдотами; но меня менее других, потому что напоминал мне брата Льва, который решительно его превосходит и особенно вкусом и чувством некоторого приличия даже в этом роде».

В последующие дни визиты к Карамзиным, у которых «в полном смысле *salon*», к Жуковскому, где они три часа кряду разбирают ненапечатанные стихи Пушкина, оставшиеся по смерти в его тетрадах.

По вечерам или дружеский ужин, или посещение театра...

Не прошло и недели, как он признаётся жене, что, хотя приятно проводит время, его уже тянет домой.

Что же мешает ему забыться в развлечениях и в приятельском обществе? Отсутствие уединения, к которому он привык и которое необходимо для души. Без этого приятная петербургская жизнь похожа на заведённое круженье, на *бесперывное мытарство*.

«У Дюме», в ресторации, Вяземский с «молодёжью» *пьют его здоровье*, – Боратынский тронут; пляшут и поют цыгане, все «порядочно подгуляли», – но как это всё утомительно... Он идёт на бенефис Тальони: удивительна, прелестна, неожиданна, и такая «правда поз: дух захватывает»... – но и знаменитая танцовщица не приносит забытья. Даже от дяди, Петра Андреевича, который в первую встречу «облил его слезами», Боратынский потом, в дворянском собрании, «ускользает»: душой он уже страшится треволнений и рвётся в спокойную Москву.

Вяземский корит молодое поколение в неуменье пить и веселиться, косвенно намекая на Боратынского: гуляке князю поэт кажется похожим на человека, который вообразил, что болен. Вяземский явно раззадоривает Боратынского: гуляй, наслаждайся, забудь про всё на свете!.. Но Боратынский вроде бы не понимает задорной шутки – отвечает всерьёз. Объясняет: дескать, он вовсе не преувеличивает воображением свои немощи, напротив, не заботится о своём здоровье и не любит лечиться.

В собрании Боратынский с интересом разглядывает наследника, Александра Николаевича, и великого князя Михаила, и огорчён тем, что так и не увидел государя. Зачем ему царь? Чтобы составить личное впечатление?..

В этой повседневной кутерьме визитов, обедов, салонных чтений, театральных вечеров Боратынский ненароком подмечает, что столица, в которую он так мечтал перебраться, уже не та, что была в его поэтической молодости. «Скажи Павлову, что благодаря Бога здесь ещё меньше заботятся об отечественной литературе, нежели в Москве», – пишет он жене в письме от 8 февраля. Печальная усмешка!..

Лишь посещение Академии художеств стало делом содержательным:

«<...> видел Последний день Помпеи Брюлова. Всё прежнее искусство бледнеет перед этим произведением; но одно искусство, а не сущность живописи. Колорит, перспектива, округлость тел, фигуры, выходящие будто вон из

полотна, всё это выше всякого описания; но думаю, что изучающий Рафаэля, Михель Анджела, Тициана найдёт в них больше мысли, больше красоты. На лицах Брюлова однообразное выражение ужаса, и нет ни одной фигуры идеально прекрасной <...>».

Прославленная и модная картина не затронула души. Зато портреты Жуковского, Крылова, которые он увидел в мастерской, понравились.

Но и это сильное впечатление тут же было смазано визитом к армянской родне невестки Аннеты, жены брата Иракия: «Обедал у Христофора Лазарева на Арарате, как говорил Иракий. Было ужасно скучно, хотя я сидел подле Аннеты. Христофор меня преследовал литературными вопросами и между прочим добивался, чтоб я ему сказал откровенно, у кого больше таланта – у Николая или у Ксенофонта Полевого».

Это, конечно, вопрос вопросов: кто из братьев Полевых даровитее...

Немудрено, что любознательный Христофор не получил никакого ответа. Что, однако, не умерило его пыл, коль скоро на следующий же день он опять «насел» на Боратынского с теми же расспросами. «Армяне несносны», – только и вздохнул поэт в письме к жене.

Разумеется, всё это издержки писательства: о чём же ещё в застолье поговорить с родственником – известным поэтом, как не о литературе. Недаром вскоре Настасья Львовна в письме Боратынского к матери припишет несколько слов о том, что очень рада «путешествию Евгения», потому что ему в Петербурге оказали очень лестную встречу, везде принимали «как общепризнанную знаменитость» и «<...> судя по тому, что пишут мне некоторые дамы, он имел большой успех, или, если повторить дословно их выражение, колоссальный успех любезного человека».

Сам же Боратынский сообщает маменьке лишь о том, что настроение его после поездки поправилось, что завязаны новые весьма приятные связи и следовало бы, наверное, задержаться недели на две, чтобы несколько их укрепить, да не терпелось вернуться в семью...

В апреле, на Пасху, Боратынские дали обед самым почтенным для них людям: Закревскому, Ермолову, Тургеневу, Вяземскому и «другим московским знаменитостям», дабы исполнить «свой долг перед обществом». «Нет в мире человека лучше, чем граф Закревский, – писал поэт матушке. – Можно подумать, что это я оказал ему услугу, а он хранит признательную память о моём пребывании в его доме – настолько он добр со мною» (*перевод с французского*).

Вскоре Настасья Львовна повезла в Петербург детей Машу и Митю, чтобы устроить их там в пансионы, – предполагалось, что позже они переедут в столицу всей семьёй. А Боратынский, по отъезде жены, отправился 9 мая к Михаилу Погодину на Девичье поле: там в живописном саду отмечались именины Гоголя. Собрался весь цвет писательской и культурной Москвы: А. И. Тургенев, П. Я. Чаадаев, М. Н. Загоскин, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков, М. Ф. Орлов, М. С. Щепкин и другие; были и знаменитые гости из столицы: П. А. Вяземский, М. Ю. Лермонтов.

На следующий день Боратынский сообщил жене про именины в саду, впрочем, без особых подробностей. Его впечатлило, как дружелюбен был с ним подвыпивший генерал Орлов. Описал лёгкий разговор с Вяземским: «Я ему сказал: “Наша жизнь разделяется на две половины: как быть с людьми, которых любишь, как быть с людьми равнодушными? Может быть, я это узнаю в чужих краях. Мне о

многим надобно поразмыслить». Он одобрительно промычал. Расстались хорошо <...>. Чаадаев звал поэта на свои понедельники. Поделился с ним вдруг своим замечанием о том, что Вяземский прежде с ним дружески сплетничал, – на что Боратынский, решив, что эти слова предполагают одно: прежде сплетничал недружески, отвечал: «Лучше следовать правилу мадам Жанлис – поддерживать личные отношения, а сплетен не слушать». «Я не думал быть остроумным и говорил от души, – уточнил он жене, – но мне после сказали, что я был очень зол. Видно, ничего нет злее правды. Ты понимаешь, что цитировать мадам Жанлис Чаадаеву – значит зачислять его в старики. Я об этом не думал».

Ни слова об имениннике, о чтении стихов и прозы, что были в саду Погодина: только то, что интересно *Настеньке*, – а ей же хочется знать лишь одно: как другие относятся к её мужу...

Однако настроение у Боратынского в те дни было подавленным: когда они расставались с женой, то повздорили и он тяжело переживал размолвку. «<...> Я сижу один с Демоном болезненного воображения и, может быть, равно болезненной совести. Ты знаешь меня по себе. Жду от тебя несколько слов, которые могли бы меня успокоить, и моя лучшая вера состоит в том, что ты их точно напишешь; да полно, об этом я бы не кончил <...>».

Далее в письме вымараны четыре строки, так, что не прочтёшь. Настасья Львовна, по смерти мужа перечитывая письма, бывало, кое-что вычёркивала. Подправляла, по её мнению, лишнее, наводила свою ретушь.

Получив тревожное письмо, Настасья Львовна сразу же ответила и успокоила Боратынского. В своём горячем послании, дышащем неподдельным чувством, она обласкала мужа любовными эпитетами, удивляясь, как он мог вообразить, что она обиделась на него: «<...> Если бы я могла предположить, что эта наша глупая размолвка произведёт на тебя такое удручающее впечатление, я не стала бы писать эти свои письма, столь поспешные и столь глупые, представляю, как они должны были быть неприятны тебе, а ты, моя душичка, ты написал мне письмо, исполненное такой любви, такой нежности, которые пронизали меня столь глубокой признательностью, что я готова была помчаться, как на крыльях, благодарить тебя, и вообрази, как нарочно, именно теперь, только что, учреждены почтовые дилижансы, которые добираются до Москвы за два дня <...>» (*перевод с французского*).

Осенью Боратынские собирались перебраться в Петербург, однако ничего не вышло: одна из казанских деревень сгорела в пожаре, и хлеб, предназначенный к продаже, пошёл на прокорм погорельцев; пришлось покупать зерно на семена; – словом, чтобы располагать деньгами для переезда, надо было подождать до будущего урожая.

Боратынского всё больше поглощало хозяйство. Летнюю поездку в Мару ему пришлось на время отложить: ходили слухи, что на дорогах неблагополучно «из-за отчаяния умирающего с голоду народа». Только в августе поэт добрался до родного поместья. С грустной шутливостью он пишет оттуда Соболевскому, которого прежде просил приискать квартиру в столице: «Радуйся: я нашёл здешнее моё имение в таком положении и получил из других такие вести, что я думать не могу ехать в П-бург. Остаюсь в деревне на год, кругом меня прекрасные степные виды, но дальнейшие мне не позволены. <...> Очень обязан тебе за участие, принятое тобою в моей заботе, и жалею, что ещё долго тебя не увижу».

### Пильная мельница и новый дом

Решено было год прожить в Маре, а уж потом думать о столице. Боратынский обсуждал с Путятой, как продать мурановский лес, чтобы покрыть текущие долги. Уехав в деревню, он надолго пропал из виду московских писателей; лишь изредка его новые стихи появлялись в журнале «Современник». Фёдор Глинка писал Петру Плетнёву: «<...> Боратынский уехал в Тамбов; уехал – и все его забыли! а пока был на глазах – кадили, чествовали!! <...>».

Только в мае 1841 года поэт с семьёй вернулся в Москву из Тамбовской губернии. По приезде он написал матери, Александре Фёдоровне, как неудачна была обратная дорога, как однажды под тяжёлой каретой провалился гнилой мост и что в Муранове ему отнюдь не до отдыха: так много дел.

Всё лето в Москву они не выезжали. И, видно, не только потому, что не отпускало хозяйство: «<...> в Москве сейчас нет общества в истинном значении этого слова».

Исподволь Боратынский собирает свою новую книгу «Сумерки», тщательно продумывая её композицию. Что до стихов, то они приходят всё реже и реже...

Внешняя жизнь – вся в *хозяйстве*, что отразилось в многочисленных письмах к Николаю Путяте, совладельцу поместий. Так, в сентябре – ноябре 1841 года он пишет другу:

«Долго я думал о сбыте нашего мурановского леса, о причинах, по которым он и за среднюю цену не продаётся, и нашёл главные две: 1-е, что купцы так часто у беспорядочных дворян имеют случай покупать лесные дачи почти задаром, что им весьма мало льстит покупка, представляющая только 20 обыкновенных процентов: 2-е, боязнь ошибиться самим в настоящей ценности леса неровного, неправильно рубленного и проч. Из этого я на первый случай заключил, что должно хотя несколько десятин свести самому хозяину и постараться сбыть брёвнами и дровами. Наконец вспомнил, что я в Финляндии видел пильную мельницу. Надобно, во-первых, вам сказать, что, думая сам сводить нашу лесную дачу и не зная, как предупредить злоупотребления и облегчить сбыт, я обратил внимание на нашего Бекера, который имеет очень много хозяйственных сведений и как купеческий сын сохранил в Москве по сию пору разные коммерческие связи. Я предложил ему взять на себя присмотр за сводом леса и продажу материалов за 10 процентов, когда выручка будет превышать 600 + за десятину, и он принял моё предложение. Я стал ему говорить о пильной мельнице. Вышло, что они очень обыкновенны в Курляндии и стоят вовсе недорого. Когда же я вычислил баснословную выгоду, которую нам может принести устройство подобной мельницы, я ухватился за мысль и тотчас принялся за дело. – Вот вкратце расчёт. Я вымерил самую среднюю десятину и счёл на ней 400 пней. – 400 пней дают 800 брёвен (и с лишком, потому что лучшие деревья дают 3 бревна). – Каждое бревно даёт 4 доски, итого 3200 досок. – В Москве доски самого последнего сорта стоят 200 сотня. – Если положить доску только по одному рублю, то десятинна даст 3200. – Сверх этого остаются: третье тонкое бревно, которое пилится на тёс, и осиновый и берёзовый лес, равно и горбыли, которые пилятся в дрова, макушки, которые пойдут на домашнее отопление и на кирпичный завод, который я хочу устроить в то же время. Кругом десятинна, при самом среднем счастье, должна дать до 5000+. – Я отыскал механика г-на Прагста, который подобную мельницу строил

на Нарвском водопаде. Он приезжал ко мне в Мураново, потому что я сначала думал заменить нашу мукомольную мельницу пильною, но вода оказалась недостаточной. Наша мельница будет приведена в движение 8-ю лошадьми. <...>

Мельница будет давать до 500 досок в сутки; в год можно свести до 25 десятин. В пять лет вся операция будет окончена. Если же продажа будет успешна, то я поставлю другую мельницу, которую Прагст обязуется мне устроить за 5500, и тогда сведу лес в 2 ½ года. – Ты видишь, какой ничтожный капитал нужен для самых блестящих результатов! Надеюсь, что ты не поколеблешься взять убытки на барыши предприятия пополам, но за свою мысль и за свои хлопоты я прошу 10 процентов, когда десятина будет приносить свыше 1000. – Контракт с Прагстом уже сделан. К наружному строению приступаю. – Главный ежегодный расход состоит в корме лошадей, но часть вознаградится лучшим удобрением полей. Я надеюсь, что все ежегодные издержки покроются одним доходом с кирпичного завода. – Прощайте, устал смертельно от длинного делового письма <...>».

Проза *обыкновенной жизни*...

Боратынский решил разом, «одним годом», так устроить все свои хозяйственные дела, чтобы «вперёд» они его почти не занимали. В Мураново он задумал возвести лесопилку и кирпичный завод, перестроить заново, значительно расширив по площади, барский дом; в казанских имениях – завести оброк и посадить на управление честных и сметливых старост. Только после этого он мог бы с чистой душой вернуться «к прежним, более привычным занятиям» – то есть наконец посвятить своё время р и ф м е. Давнишняя мечта уже казалась ему вполне достижимой, и это согревало душу, подстёгивало предприимчивость. Окончание дел, долгожданное путешествие по дальним странам, которое освежит кровь и обновит мысли, – и вдохновенная жизнь в новом доме, на благословенной подмосковной земле. Вот всё, что нужно было уму и сердцу...

«Я между прочим бодр и весел, как моряк, у которого на виду пристань. Дай Бог не ошибиться», – признался он Николаю Путяте, оканчивая это многотрудное деловое письмо.

Как в ранней юности, вспомнилось – *more!*.. Только тогда ему виделись сражения с врагом, борьба с бушующей стихией, – теперь же чудилась свобода от забот, преодоление вечной отупляющей качки житейской зыби, вольная пристань *трудов и чистых нег*, о коих мечталось в конце жизни и Пушкину.

В октябре 1841 года Боратынские сняли просторный дом в соседнем селе Артёмово у помещицы Пальчиковой и переехали туда. «Мы живём в столь глубоком уединении, любезная маменька, что все новости, которые я могу вам сообщить, касаются только нашего здоровья, слава Богу, хорошего, – писал он Александре Фёдоровне в Мару в начале зимы. – Подмосковная усадьба зимой – убежище куда более мирное и тихое, нежели деревня в глубине России. Надо сказать, что у нас тут зима в разгаре – земля покрыта снегом, и установлен санный путь. Мы собрались было починить четырёхместный возок, чтобы на нём ездить в Москву, где бываем всё же время от времени, но отказались от этого намерения из-за здешних дорог, таких узких в этом лесном краю, что в большом экипаже добраться до шоссе невозможно. Эти дороги – не что иное, как едва заметные следы от крестьянских саней, остающиеся после редких поездок какого-нибудь крестьянина в соседнюю деревню. Все барские дома кругом пустуют. Мы так мало ожидаем гостей, что в доме, который сняли (а это большой дом, построенный по-

старинному, то есть очень неудобно), закрыли все двери и оставили только чёрный ход – это нужно как для того, чтобы защититься от ветров, дующих сквозь щели, так и для того, чтобы разместить всех наших домашних, а среди них пополнение: француженка, она также даёт детям уроки музыки и рисования, учитель латыни, русского языка и математики. Прихожая, дверь из которой выходит на парадное крыльцо, теперь забита и служит обиталищем француженки. Жизнь наша течёт в высшей степени однообразно. Часы отличаются один от другого лишь различными уроками детей да разными музыкальными пьесами, которые они разучивают; по ним мы и определяем время. У Сашиньки, кажется, открылся подлинный талант к живописи <...>» (перевод с французского).

Про себя он сообщил только одно – что всё время занимался пильной мельницей: здание для неё наконец выстроено и скоро можно запускать машину...

Боратынский никогда не был богат и отнюдь не стремился разбогатеть: ему нужны были средства для семьи, для воспитания детей и относительная материальная свобода для творческой жизни. Ни на чью помощь рассчитывать не приходилось – создать эти необходимые условия он мог только сам. Вести хозяйство в казанских имениях и в Подмоскowie было весьма непросто, а он ещё затеял собственное дело с лесом и постройку дома. Помогли природный ум, знание людей, смекалка и твёрдая воля. Мысль о лесопилке была замечательной: поэт совершенно верно понял, что «лес после хлеба первая необходимость». Но он сумел еще и основательно изучить, как с наилучшей пользой устроить своё дело.

Мурановский лес оказался изведённым: где пусто, а где густо; местные ели имели «весьма невыгодное свойство на половине необыкновенно суживаться», отчего на пилку выходило меньше брёвен, чем он первоначально предполагал. Но всё равно изготавливать доски было гораздо выгоднее, чем по дешёвке продавать купцам лес на корню, как это делали ленивые и нерадивые соседские помещики. Крестьяне же, подметил Боратынский, не любили работать, и ему как хозяину стоило больших трудов наладить вырубку леса. А когда в феврале 1842 года попробовали пильную машину «начерно», то чуть не случился казус: «На 8-ми лошадях, новая, не обтёртая, она пошла хорошо и даже слишком. Лошади привели её в первое движение с большим напряжением, но вдруг, почувствовав облегчение от действия махового колеса, понесли, всё затрещало, и мужики наши разбежались в страхе» (из письма к Н. Путяте, февраль 1842 года).

В другом письме Боратынский до мельчайших деталей объясняет своему родственнику-компаньону свои новые, уточнённые расчёты «всей операции» по пилке леса: есть даже чертёж, разъясняющий механику этого процесса. Он подробнейшим образом сообщает, во что обойдётся наём управляющего, питание занятых в деле крестьян и прокорм лошадей, причём рассчитывает издержки и доходы не на год, а сразу на пять лет. «<...> Из Англии я получил 100 пил, каждая обошлась по 12 р. 50 к. Если машина чуть-чуть искусно сделана, нам некуда девать и 50-и. 50 можно будет продать по 25. Пилы эти обыкновенные продольные, служащие и для ручной пилки, только вдвое лучше тульских, которые продаются за цену, поставленную мною выше. – Теперь мы толкуем о важном деле, о том, чтобы заменить лошадей волами. Вместо 20 лошадей нужно только 10 волов. Для машины они лучше, потому что идут ровнее, содержание дешевле четверо. Цена с лошадьми одна. Я колеблюсь, потому что, по крайней мере в Тамбовской губернии, на них часто бывает падёж; но тамбовский климат осо-

бенно злокачествен. Собираю сведения, и если они будут благоприятны, то это совершенно обезопасит нашу операцию. – За одно нынешнее лето я вывезу на этих волах из Глебовского всё сено, нужное на их продовольствие в течение пяти лет. Ты знаешь, что волы летом не требуют никакого содержания и довольствуются подножным кормом <...>».

Эти письма к Путяте – своеобразное свидетельство предельной добросовестности Боратынского в ведении хозяйственных дел. Николай Путята – старый друг и молодой родственник, он, конечно, и так полностью доверяет поэту, однако они несут общие затраты – и тем щепетильней Боратынский в своих сметах. «Очень рад, что кончил письмо и дал тебе отчёт, который давно хотел тебе дать во всех моих соображениях и действиях. Желаю, чтобы ты был доволен. Ты видишь по крайней мере, что я усердно занялся хозяйством».

Его затея с пилкой леса, хоть и не принесла особой прибыли, в общем удалась. 8 марта 1842 года поэт не без торжественности объявил Николаю Путяте: вчера, «в день моих именин, я распилил первое бревно <...>. Доски отличные своей чистотой и правильностью».

С таким же умом и основательностью Боратынский возводил свой обновлённый дом в Мураново – по собственному плану и чертежам, обнаружив изрядный архитектурный вкус. Он предусмотрел всё возможное, чтобы дом был удобным для обитания, уютным и зимой не продувался ветрами. Перед зданием разбили цветник; к пруду сбегал широкий зелёный луг, а за гладью воды поднимались округлые холмы, поросшие ельником. Двухэтажный дом, сложенный из могучих брёвен, и слегка возвышающуюся над ним башню у одноэтажной пристройки обложили кирпичом. Поэт писал Николаю Путяте, что дом «снутри ошекетурен глиною, способ, вывезенный мною из Тамбовской губернии, где он в общем употреблении». Наверху устроили детям классную комнату для занятий – что характерно, без окон в стенах; комната освещалась сверху, через узкие окна под крышей, посередине по скатам крытой стеклом. По преданию, всё это задумал и устроил сам Боратынский – чтобы ничто не отвлекало детей во время уроков. Конечно, детишки *тужили*, не имея возможности глазеть в окна, – недаром домашние прозвали эту комнату – *тужиловкой*. На нижнем этаже анфилада комнат завершалась зимним садом, расположенным между библиотекой и башней...

Летом 1842 года Боратынский написал матери, что дом почти закончен и что «получилось славно: миниатюрная импровизация Любичей» (Любичи – имение Кривцовых, соседей Боратынских по Маре).

Труды минувшего года, проведённого в утомительных хозяйственных делах и хлопотах, Боратынский с полным основанием назвал – *ненапрясными*.

Его занятия хозяйством были, конечно, не только *усердие*, но постижение сельского труда как такового. Боратынский относился отнюдь не к тем помещикам, для которых главным являлось упрочить своё дело, – он по самому своему естеству был *созидателем на земле*. Те незаметные уроки, что дал ему в детстве отец, не прошли даром. Добродушный мечтатель Абрам Андреевич, изукрасивший своё поместье Мару прекрасным садом и постройками, передал своему старшему сыну любовь к земле и к устройению собственного дома, внушил уважение к труду крестьян.

Когда-то в далёкой юности 21-летний Боратынский в элегии «Родина» воображал для себя скромную участь «спокойного домоседа», который в кругу семьи наблюдает со стороны за «бурями света», и признавался:

Я с детства полюбил сладчайшие труды.  
 Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,  
 Почтеннее меча, полезный в скромной доле,  
 Хочу возделывать отеческое поле.

В Мураново начала 1840-х эти желания осуществлялись наяву.

Боратынского как помещика отличал трезвый ум и благой разум: он подобрал способных управителей в своих имениях и положил им приличное жалованье; обременительную барщину в казанских имениях заменил посильным оброком; своим тамбовским крестьянам «дозволил почтовую гоньбу». Два раза в год возчики доставляли обозы с рожью в Москву, а на обратный путь загружались в Мураново досками и дровами, смотря что было выгоднее везти в ту или иную пору. На валку и пилку леса Боратынский взял рабочих по вольному наёму, а его мурановские крепостные только подвозили брёвна к «машине» – пильной мельнице.

Поэт сочувствовал участи крепостных крестьян, хорошо зная их жизнь; чем мог, помогал мужикам, особенно в голодные годы. Он считал, что подневольный труд на земле давно изжил себя, что рабское состояние унижительно для человека. Это подтверждает его чрезвычайно горячий отклик на проект закона об «обязанных крестьянах», предложенный в 1842 году графом П. Д. Киселёвым. Согласно этому нововведению, крестьянам на определённых условиях давалось право получать от помещиков землю в постоянное наследственное пользование, то есть крепостные обретали частичную свободу. «<...> Нельзя было приступить к делу умнее, осторожнее! – писал Боратынский Путятам, поздравляя их с Пасхой. – <...> У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем. Вижу, осеаю возможность исполнения великого дела и скоро и спокойно <...>».

Проект свобододолюбового государственного мужа был сильно отредактирован в министерстве внутренних дел, а принятый вслед за этим закон свёл права крепостных почти на нет. Впоследствии историк В. О. Ключевский писал: «Помещики, говоря о неудаче закона, смеялись над ним, но они не заметили, какой переворот свершился в законодательстве; свобода крестьянской личности, следовательно, не оплачивалась. <...> Как скоро молчаливо было признано законом это начало, тотчас же из закона могли вывести, что личность крестьянина не есть частная собственность землевладельца, что их связывают отношения к земле, с которой нельзя согнать большую часть государственных плательщиков <...>». Боратынский сразу же и одним из первых понял суть этого коренного перелома в отношении к крепостным крестьянам – и от души порадовался. В конце апреля 1842 года он писал сестре Наталии в Мару: «<...> Вы получаете московскую газету и, следовательно, знаете о замечательном указе, превосходном своей сдержанностью и предусмотрительностью и разрешающем самые трудные проблемы, хотя с первого взгляда это и не очевидно. <...> Все мои молитвы – за того, кто не побоялся взяться за труднейшее и прекраснейшее дело. Взаимные права помещиков и крестьян до некоторой степени уже определены, а это – пробный камень <...>» (*перевод с французского*).

Осуществилось и его давнее желание о *спокойном домоседействе*: добрая, любящая жена, многочисленное семейство; размеренная жизнь вдали от суеты...

Старший сын поэта, Лев Евгеньевич, впоследствии вспоминал, что воспитание детей было мягким. «Телесных наказаний не было и в помине, детей даже

не ставили в угол; наказания для провинившихся состояли в лишении за столом сладкого или ещё одного блюда. Отец на детей никогда почти не сердился, прикрикивал на них очень редко и вообще относился к ним нежно; разговаривал он с ними серьёзно, а со старшими детьми своими поэт старался держать себя как с друзьями, почти на товарищеской ноге».

Сам Боратынский писал к матери, Александре Фёдоровне, летом 1842 года из Артёмово (в Мураново дом ещё достраивался):

«<...> Вы понимаете, что я обосновался в деревне надолго. Моя энергическая деятельность – по сути не что иное, как следствие глубокой потребности в покое и тишине. Дом наш в настоящее время напоминает маленький университет. У нас живут пять иностранцев, среди которых судьба подарила нам превосходного учителя рисования. Скромное существование, которое мы ведём, и доходы, которые, мы надеемся, даст нам продажа леса, позволяют много тратить на обучение детей, так как они и их учителя оживляют наше уединение. Этой осенью я испытаю наслаждение, прежде мне неизвестное, – буду сажать деревья. У нас есть хороший старик-садовник, и я рассчитываю на его добрые советы <...>» (перевод с французского).

Дети радовали отца: старшая дочь Александра прекрасно рисовала, Лев делал успехи в музыке и, кроме того, как и брат Николай, пробовал сочинять стихи. Боратынский приветствовал его первую «стихотворную сюиту» на редкость светлым и радостным экспромтом:

Здравствуй, отрок сладкогласной!  
Твой рассвет зарёй прекрасной  
Озаряет Аполлон!  
Честь возникшему пииту!  
Малолетнюю хариту  
Ранней лирой тронул он.

С утра дней счастлив и славен,  
Кто тебе, мой мальчик, равен?  
Только жавронок живой  
Чуткой грудию своею,  
С первым солнцем, полный всею  
Наступающей весной!

Беседуя с сыном о поэзии, Боратынский радовался его удачам, но всегда судил о стихах «беспристрастно и нелицеприятно», не щадил ошибок. Льву Евгеньевичу запомнились слова отца о том, что первые свои произведения «должно посвящать богам, предавая их всеожжению». Впрочем, из сына поэта не получилось, – его больше влекла музыка.

Для музыкальных уроков Боратынский пригласил в дом «m-me Fild» – вдову выдающегося пианиста и композитора Джона Фильда, у которого учились многие русские музыканты. Поэт любил и понимал музыку, он и сам играл на фортепьяно. Госпожу Фильд он, несмотря «на довольно невыгодную репутацию», выбрал потому, что она знала «методу» своего мужа. Боратынскому доводилось слушать игру этого замечательного пианиста, близкого по манере исполнения к тогда ещё

новой и необычной игре Фридерика Шопена, сочетающей тонкую лиричность и проникновенность с безукоризненно строгим вкусом. Поэту очень хотелось, чтобы пианистка привила его старшим детям те «маленькие артистические тонкости», которые передал своей супруге её знаменитый муж.

Вожделенные *тишина и покой* – и ежедневные суета и заботы: пилка леса, изматывающие формальности с опекой, продажа проса, строительство дома... В одном из писем Боратынский упомянул, что «всё это время» ему приходилось кормить в Мураново «по пятьдесят рабочих», занятых на стройке...

10 августа 1842 года поэт, извиняясь за опоздание, отвечает Петру Плетнёву: «<...> Письмо твоё застало меня среди материальных забот, тем более поглощавших всё моё время и мысли, что по привычке моей к жизни отвлечённой и мечтательной, я менее способен к трудам, требуемым действительностью. Чтоб в самом деле вести тихую жизнь мудреца, нужно глубокое и покорное внутреннее согласие на некоторые суеты житейские. Этого у меня нет, но надеюсь, что будет <...>».

То есть ему ежедневно приходилось пересиливать себя и напрягать волю...

«Обстоятельства удерживают меня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удовольствия, не без любви к этим мирным занятиям и к прекрасной окружающей меня природе; – продолжает он, – но лучшая, хотя отдалённая, моя надежда: Петербург, где я найду тебя и наши общие воспоминания. Теперешняя моя деятельность имеет целью приобрести способы для постоянного пребывания в Петербурге, и я почти не сомневаюсь её достигнуть. С нынешней осени у меня будет много досуга, и если Бог даст, я снова примусь за рифмы. У меня много готовых мыслей и форм, и хотя полное равнодушие к моим трудам гг. журналистов и не поощряет к литературной деятельности, но я, Божию милостью, ещё более равнодушен к ним, чем они ко мне <...>».

А к матери в Мару он пишет, посылая книгу Бальзака, что зимой, когда с «ненапряжными трудами» будет покончено, попробует написать роман «в его роде» – и обещает впредь не предпринимать ничего, что может помешать литературным занятиям.

Осенью Боратынские наконец переехали в новый дом – красивый, удобный, тёплый.

Однако до самого Рождества там ещё стучал молоток: что-то всё приходилось доделывать, – и поэт никак не мог привыкнуть к своему обновлённому жилищу...

### Последняя книга

20 мая 1842 года газета «Московские ведомости» объявила о том, что в типографии Августа Семена вышла книга «Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского».

Это была последняя книга поэта.

Впервые за два десятка лет в печати он вернулся к старинному – верному – написанию своей фамилии: Б о р а т ы н с к и й.

Кроме того, вместо слова «стихотворения», что было на его прежних книгах, появилось новое – «сочинение», и это было неспроста: поэт словно бы подчёркивал, что его небольшой томик един по духу и целостен по мысли и настроению.

Отправляя книги в Петербург Петру Александровичу Плетнёву – «для доставления разным лицам», Боратынский скромно написал: «<...> Знаю, что даю тебе очень скучное поручение, но ради нашей давней связи позволю себе не слишком совеститься. Тут есть экземпляры, адресованные старым товарищам, которые, может быть, с тобою не в сношении. Отдай их Льву Пушкину: это знакомцы нам общие. Не откажись написать мне в нескольких строках твоё мнение о моей книжонке, хотя почти все пьесы были уже напечатаны; собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта».

Из двадцати шести стихотворений книги лишь три «пьесы» были новые, зато ни одно из стихотворений не входило в прежние книги.

На экземпляре, предназначенном в дар Софье Карамзиной, была надпись в стихах:

Сближеньем с вами на мгновенье  
Я очутился в той стране,  
Где в *оны дни* воображенье  
Так сладко, складно лгало мне.  
На ум, на сердце мне излили  
Вы благодатные струи  
И чудотворно превратили  
В день ясный *сумерки* мои.

Общий тон поэта и был – *с у м е р к и*.

Ни свет, ни мрак; ни день, ни ночь, – а именно то переходное время суток, которое как нельзя точнее отражало состояние духа и выражало *общее направление* поэта, его *тон*.

Посылая экземпляр книги князю Вяземскому, Боратынский сопроводил его ещё более скромной запиской: «Это небольшое собрание стихотворений предано тиснению почти, если не единственно, для того, чтобы воспользоваться позволением вашим напечатать посвящение. Примите и то и другое с обычным вашим благоволением к автору <...>».

«Сумерки» и открывались стихотворением, посвящённым Петру Андреевичу Вяземскому.

Другой экземпляр «Сумерек» поэт просил передать его жене, Вере Фёдоровне, любезно приписав: «Почту себя счастливым, если моё приношение будет ей хотя мало приятным».

Ещё один экземпляр книги был послан в дар Наталии Николаевне Пушкиной...

Эта небольшая книга, которая была поистине *томов премногих тяжелей*, по воспоминаниям литератора Михаила Лонгинова, «произвела впечатление при видения, явившегося среди удивлённых и недоумевающих лиц, не умевших дать себе отчёта в том, какая это тень и чего она хочет от потомства».

Впрочем, Лонгинов был сам из этого недоумевающего «потомства» – он описывал свои юношеские впечатления. Что было ему до какой-то *звезды разрозненной плеяды*, даже и пушкинской!.. Архаичный слог... старинные чувства... чересчур серьёзные мысли... Конечно, Боратынский был ему непонятен и чужд.

Однако и сам Боратынский, без сомнения, не обольщался насчёт читательского сочувствия. Он слишком хорошо знал, как далеко ушёл от публики, не способной воспринимать по-настоящему глубокую поэзию. Собрав воедино свои редкие, невиданной силы стихи последних семи лет (1834 – 1841), поэт, несомненно, представлял, что он чужероден не только давно равнодушным к нему господам журналистам, но и отвыкшему от него читателю, который всегда гонится за модой и новизной. Недаром первое стихотворение «Князю Петру Андреевичу Вяземскому» он велел выделить курсивом. Это был не просто заповедь книги – в старом друге Боратынский словно бы видел одного-единственного – своего – читателя и обращался только к нему. Сам же автор посвящения, добровольно покинувший свет, пребывал «как бы во гробе», в созданной для себя «Лете» – и покидал её только иногда лишь затем, чтобы, «с тоскою жаркой и живой», облетать «степи мира».

Не исключено, что и образ *тени* навеян мемуаристу М. Лонгинову самим Боратынским – его восьмистишием, которое идёт вслед первым стихам книги:

Всегда и в пурпуре и злате,  
В красе негаснущих страстей,  
Ты не вздыхаешь об утрате  
Какой-то младости твоей  
И юных Граций ты прелестней!  
И твой закат пышней, чем день!  
Ты сладострастней, ты телесней  
Живых, блистательная тень!

(1840)

Поначалу это стихотворение имело заголовок – «С. Ф. Т.»; адресат остался неразгаданным.

Судьба таинственной незнакомки, даже не вздыхающей об утрате *какой-то младости своей*, метафорически отражена и в судьбе «позднего» Боратынского, который предпочёл одиночество и безвестность светскому шуму и «славе», но на закате своём сделался ещё *пышней, телесней* в сияющем существе поэзии.

Железный век самонадеянно отринул божественную природу человека; доверившись расчётам, презрел перводанное чутьё; убил в себе чувство, возгордившись суетным умом. Вот почему и тоскует *последний поэт*, наделённый не плоским, а всеобъемлющим знанием.

Он видит, что пред-рассудок, то есть интуитивное знание, ближе к истине, нежели доводы прагматического ума:

Предрассудок! он обломок  
Давней правды. Храм упал;  
А руин его – потомок  
Языка не угадал.

Гонит в нём наш век надменной,  
Не узнав его лица,  
Нашей правды современной  
Дряхлоротного отца.

Воздержи младую силу!  
Дней его не возмущай;  
Но пристойную могилу,  
Как уснёт он, предку дай.  
(1841)

Он понимает, что человек, оторванный от природы, предаёт жизнь и обрекает себя на гибель:

#### ПРИМЕТЫ

Пока человек естества не пытал  
Горнилом, весами и мерой;  
Но детски вещаньям природы внимал,  
Ловил её знаменья с верой;

Покуда природу любил он, она  
Любовью ему отвечала:  
О нём дружелюбной заботы полна,  
Язык для него обретала.

Почуяв беду над его головой,  
Вран каркал ему в опасенье,  
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,  
Воздерживал он дерзновенье.

На путь ему выбежав из лесу волк,  
Крутясь и подъемля щетину,  
Победу пророчил, и смело свой полк  
Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,  
Блаженство любви прорицала:  
В пустыне безлюдной он не был одним,  
Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но чувство презрев, он доверил уму;  
Вдался в суету изысканий...  
И сердце природы закрылось ему,  
И нет на земле прорицаний.  
(1840)

Это стихотворение, наверное, показалось прогрессистам XIX века просто-напросто смешным, – только теперь, спустя два столетия, оно явлено во всей своей пророческой силе.

Чем похваляется возомнивший себя богом «материалист», – спрашивал себя и читателя поэт, – если по сути своей человек лишь только *недоносок*, «бедный дух»,

ничтожный дух! – но не житель Эмпирея»?.. Среди горечей, страхов, скорбей этому жалкому духу почти не осталось надежды на спасение, хотя он ещё слабо слышит «арф небесных отголосок». Однако глаза ему застилает мгла – сумерки сознания, и скоротечное существование того и гляди канет в «бессмысленную вечность»...

Судьбой *последнего поэта* на земле пронизана вся книга «Сумерки»: от стихотворения к стихотворению – до предельных глубин бытия, человеческой души, мировой истории – доходит, разворачиваясь, этот поразительный по безоглядной правдивости и самоотверженному мужеству монолог.

В восьмистишии «Мудрецу» Боратынский печально усмехается над самим собой – над своим наивным желанием *тишины и покоя*:

Тщетно, меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,  
Хочешь ты пристань найти, имя даёшь ей: покой.  
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,  
Жизнь для волнения дана: жизнь и волнение одно.  
Тот, кого миновали общие смуты, заботу  
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;  
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,  
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!

(1840)

С той же горечью он свидетельствует о непомерном для земного человека *даре мысли*, которому он сам сызмалу поклонялся, и, несмотря на всю обретенную скорбь познания, остался верен до конца:

Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!  
О жрец её! тебе забвенья нет;  
Всё тут, да тут и человек, и свет,  
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.  
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком  
К ним чувственным, за грань их не ступая!  
Есть хмель ему на празднике мирском!  
Но пред тобой, как пред нагим мечом,  
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.

(1840)

Образ *последнего поэта* – символ заблудшей человеческой души в обездушенном мире. Разумеется, он не во всём совпадает с личностью самого его создателя, но несомненно и другое: этот образ во многом отражает внутренний мир Боратынского, глубину его сознания, чувства и мысли. Явления ли «внешней» жизни пробуждают воображение поэта или же напряжённое внутреннее переживание вызывает в нём видения, – но в них неизменно присутствует этот сквозной образ. Он позволяет Боратынскому с безусловной правдивостью осознать и выразить свою душу.

Не столь существенно, видел ли он когда-нибудь въяве слепого нищего, поющего перед толпой, или же всё это пригрезилось ему, – а важно то, что в этом бедном безымянном певце он разглядел и *последнего поэта*, и самого себя:

Что за звуки? мимоходом  
Ты поёшь перед народом,  
Старец нищий и слепой!  
И, как псов враждебных стая,  
Чернь тебя обстала злая,  
Издеваясь над тобой.

А с тобой издавна тесен,  
Был союз Камены песен,  
И беседовал ты с ней,  
Безыменной, роковою,  
С дня, как в первый раз тобою  
Был услышан соловей!

Бедный старец! слышу чувство  
В сильной песне... Но искусство...  
Старцев старее оно:  
Эти радости, печали, –  
Музыкальные скрижали  
Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!  
Ты избранник, не художник!  
Попеченья гений твой  
Да отложит в здешнем мире:  
Там, быть может, в горнем клире  
Звучен будет голос твой!

(1841)

*Горний клир* – это небеса, это песнь Богу.

Не о себе ли и пророчит поэт?..

Во всём своём творчестве Боратынский будто бы уклонялся от прямого разговора о Боге. Крайне редко обращался к теме веры и неверия... Исследователями обычно приписывается поэту «христианский скептицизм». Однако в книге «Сумерки», при всей её душевной *мгле* и при всей безнадежности её *тона*, то там, то сям, где искрами, а где и языком пламени вырывается из глубин тот потаённый религиозный огонь, что так редко выказывал в своём творчестве поэт.

Всем известно: Бог есть любовь. Боратынский не говорит этого напрямую, у него только намёк на то – в обращении к другу:

<...> Вам приношу я песнопенья,  
Где отразилась жизнь моя:  
Исполнена тоски глубокой,  
Противоречий, слепоты,  
И между тем *любви высокой*,  
Любви, добра и красоты.

(«Князю Петру Андреевичу Вяземскому»)

Монах, уходя в пустынь, даёт обет безмолвия, обретая потом дар пророка. У поэта – пустынь в миру:

<...> И один я пью отныне!  
 Не в людском шуму, пророк  
 В немотствующей пустыне  
 Обретает свет высок! <...>

Сама ветхозаветная архаика библейского слога сгущается в поздних стихах Боратынского, как никогда ранее: «Ещё как патриарх не древен я; моей / Главы не умастил таинственный елей: / Непосвящённых рук бездарно возложенье! / И я даю тебе моё благословенье / Во знаменье ином <...>»; «юдольный мир»; «благословен святое возвестивший» и т.д. Сквозь языческую мглу античности, явившей миру *первого поэта*, высвечивается дух единобожия, спасительной для *последнего поэта* силы веры:

Влага Стикса закалила  
 Дикой силы полноту,  
 И кипящего Ахилла  
 Бою древнему явила  
 Уязвимым лишь в пяту.

Обречён борьбе верховной,  
 Ты ли, долею своей  
 Равен с ним, боец духовной,  
 Сын купели новых дней?

Омовен её водою,  
 Знай, страданью над собою  
 Волю полную ты дал  
 И одной пятой своею  
 Невредим ты, если ею  
 На живую веру стал!  
 («Ахилл», 1841)

Тут ни слова о Христе, – но не подразумевает ли «купель новых дней» крещение?..

Биограф и филолог Гейр Хетсо заметил, что в программном стихотворении «Осень» Боратынский рисует *последнего поэта* посланцем «золотого века» в «век железный» (отблеск благодатной античности заметен и в стихотворениях «Последний поэт», «Алкивиад», «Мудрецу», «Рифма»). Но этот новый век, пришедший на смену былой гармонии, угнетает поэта своею бездуховностью и пустотой, и потому он ищет надёжной опоры в религии, в живой вере. Наверное, поэтому в «Рифме», заключительном стихотворении книги «Сумерки», Боратынский говорит напоследок о божественном духе поэзии, сравнивая стихи с библейским голубем, который принёс спасающимся на ковчеге от гибели благовест о прощении:

<...> Меж нас не ведает поэт,  
Высок полёт его иль нет!  
Велика ль творческая дума?  
Сам судия и подсудимый,  
Скажи: твой беспокойный жар –  
Смешной недуг иль высший дар?  
Реши вопрос неразрешимый,  
Среди безжизненного сна,  
Средь гробового хлада света,  
Своею ласкою поэта  
Ты, рифма! радуешь одна,  
Подобно голубю ковчега,  
Одна ему, с родного берега,  
Живую ветвь приносишь ты;  
Одна с божественным порывом  
Миришь его твоим отзывом  
И признаёшь его мечты!

#### «Высшие звуки» поздней лирики

Отклики современников на последнюю книгу Боратынского были редки, большей частью неглубоки, если не маловразумительны.

Если молодым литераторам «Сумерки» показались *привидением, тенью*, то его ровесники не разглядели в книге главного, а скорее всего – даже не поняли его.

Софья Карамзина, хозяйка литературного салона, прислала в ответ на подаренную книгу любезное письмо, в котором описала свои впечатления от *надписи*, сделанной Боратынским: «прелестные стихи»; уверила, что перечитывает её «с наслаждением», и вовсе «не из-за самолюбия, а по сердечному чувству». И ни слова о самой книге, о её стихах.

Николай Языков написал брату: Боратынский «крайне помрачился духом, как видно из его стихотворений “Сумерки”, – видно, что судьба его угнетает <...>». Конечно, письмо было частным и этих слов давнего поэтического собрата Боратынский никак знать не мог, – но неужели это и всё впечатление от книги, где так много истинных шедевров? За шесть лет до этого Н. Языков в своём послании сетовал, что Боратынский «покинул лиру», и призывал: «Не медли, друг и брат! Судьбу твою решила / Поэзия. О, будь же верен ей всегда! / Она одна тебе прибежище и сила, / Она твой крест, твоя звезда!» – Вот и представился случай убедиться, что призыв не пропал втуне, что «друг и брат» остался верен своему кресту, своей звезде... Ан нет! сочувствия хватило только на печальный вздох по человеку. Впрочем, Языков и прежде в своих доверительных письмах невысоко отзывался о Боратынском-поэте...

Одна лишь Александра Фёдоровна Боратынская, *маменька*, пожилая и больная, целиком одобрила поэта. Когда-то Денис Давыдов по горячности своей назвал её «сумасшедшей», но Александра Фёдоровна сохранила и ясный ум, и любовь к литературе (постоянно читала новинки французской прозы), и верность старшему сыну, – недаром в последние годы он часто писал ей в Мару. Боратынский отве-

тил на её письмо (оно не сохранилось) с искренней и тёплой признательностью: «Ваши похвалы моей книге, любезная и милая маменька, – самые приятные и лестные из всех, какие я когда бы то ни было получал. Поэтому я наслаждался ими со всем простодушием и чистосердечным удовольствием, на какие способен <...>» (перевод с французского).

Каролина Павлова ответила на «Сумерки» благодарными стихами:

<...> Но вы, кому не изменила  
 Ни прелесть благодатных снов,  
 Ни поэтическая сила,  
 Ни ясность дум, ни стройность слов, –

Храните дар богоугодный!  
 Да цепь всех жизненных забот  
 Мечты счастливой и свободной,  
 Мечты поэта не скуёт!

В музыке звучного размера  
 Избыток чувств излейте вновь;  
 То дар, живительный, как вера,  
 Неизъяснимый, как любовь.

Из критиков первым отозвался Пётр Плетнёв в своём журнале «Современник». Увы, в его рецензии много общих слов и нет предметного разбора: такое впечатление, что Плетнёв не потрудился душой – толком не прочитал книгу и, увидев в ней уже известные ему по прежним публикациям стихи, ограничился давно определённым мнением:

«В литературе есть имена, есть таланты, которые появлением своим каждый раз вносят в душу читателя особый мир идей, образов, ощущений и хотя на мгновение облачают жизнь лёгкою, светлою радостью. Это те *немногие* из художников, которые, постигнув своё призвание, ему одному оставались всегда верны, любили искусство, потому что в его только сфере чувствуешь дыхание чистой красоты и высокой истины, не изменяли вечным законам творчества и, уклонившись в обитель созерцательности и гармонии, не узнали о существовании изменчивых приговоров толпы. <...> К числу поэтов, так действующих на образованного читателя, бесспорно принадлежит *Евгений Баратынский*, писатель, на котором глубокая истина идеи всегда равна простоте и точности выражения, писатель, столько же открывший новых воззрений на жизнь, новых картин, незамеченных до него оттенков в красках элегического рода, сколько Крылов в области аполога. Прочитайте в “Записках” Пушкина, что он говорит о Баратынском. Это приговор самого беспристрастного, самого сведущего, самого законного судьи. Давно мы расстались с поэтом. Он не мог разлучиться с поэзией, которая живёт в душе его; но он не издавал ничего, кроме редко попадававшихся в “Современнике” небольших стихотворений <...>».

Всё это, конечно, верно – только нет открытий, нового взгляда на Баратынского и на его книгу, которая предоставляла наилучший для этого «материал».

Следом, в июле 1842 года, откликнулась «Библиотека для чтения»:

«Сумерки, и луны нет! сумерки, и девы нет! Даже мечты нет!.. которая, впрочем, то же, что дева. Что ж это за сумерки?.. Но они именно тем и хороши, что в них нет ни луны, ни девы, ни мечты. Это сумерки без всяких пошлостей, сумерки *comme il faut*, благородные сумерки <...>. Стихотворения <...>, и прежде напечатанные, и нынешние, имеют своё самостоятельное достоинство. В них много прелести, много ума. Почти каждая пьеса запечатлена удачною мыслью, и, главное, ни в одной из них, несмотря на сумерки, нет ни девы, ни мечты, ни луны <...>».

Болтливый, легкомысленный слог, будто речь о дебютанте-стихотворце, а не о зрелом поэте, который представил вниманию читающей публики свои отборные – вершинные – стихи. Не в силах понять и оценить книгу, нимало не почуяв её глубины, безымянный рецензент только лишь скользнул по поверхности, да ещё напоследок пожурил автора за «несколько тяжёлые фразы» в гениальной «Осени», приведя строфы, которые можно сократить как «лишние»...

Что, кроме досады, мог чувствовать Боратынский, читая эту легковесную невнятицу...

Через полгода, в декабре, вышли «Отечественные записки» с рецензией Виссариона Белинского на «Сумерки».

«Давно ли г. Баратынский, вместе с г. Языковым, составлял блестящий триумvirат, главою которого был Пушкин? А между тем как уже давно одинокою стоит колоссальная тень Пушкина <...>. Давно ли каждое новое стихотворение г. Баратынского, явившееся в альманахе, возбуждало внимание публики, толки и споры рецензентов?.. А теперь тихо, скромно появляется книжка с последними стихотворениями того же поэта – и о ней уже не говорят и не спорят <...>. Да не подумают, что мы этим хотим сказать, что дарование г. Баратынского незначительно, что оно пользовалось незаслуженною славою: нет, <...> мы высоко уважаем яркий, замечательный талант поэта уже чуждого нам поколения <...>».

*Высоко*, да не очень: разобрав «чудные, гармонические стихи» в «Последнем поэте» и в «Приметах», Белинский объявил *идею* Боратынского, его *мысль* – ложной: поэт-де грешит, обвиняя век в духе меркантильности: «Если наш век и индустриален по преимуществу, это нехорошо для нашего века, а не для человечества: для человечества же это очень хорошо, потому что через это будущая общественность его упрочивает свою победу над своими древними врагами – материею, пространством и временем <...>».

Размышляя о других стихах книги и даже припомнив «Последнюю смерть», напечатанную в прежнем сборнике, Белинский пришёл к окончательному выводу:

«Этот несчастный раздор мысли с чувством, истины с верованием составляет основу поэзии г. Баратынского, и почти все лучшие его стихотворения проникнуты им <...>. Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, истина как губитель счастья – вот откуда проистекает элегический тон поэзии г. Баратынского и вот в чём её величайший недостаток. (Заметим в скобках, что все эти доводы попросту передёрнуты. – *В. М.*) Здание, построенное на песке, недолговечно; поэзия, выразившая собою ложное состояние переходного поколения, и умирает с тем поколением, ибо для следующих не представляет никакого сильного интереса в своём содержании. <...> – Эта невыдержанная борьба с мыслию много повредила

таланту г. Баратынского: она не допустила его написать ни одного из тех творений, которые признаются капитальными произведениями литературы и если не навечно, то надолго переживают своих творцов».

Таким образом критик приговорил всё творчество Боратынского к забвению – и чуть ли ещё не при жизни поэта. Критерий один: поэт «чуждого поколения» мыслит неправильно, не идёт вслед за *общественностью* и прогрессом человечества. Как видим, *соцреализм* зародился лет на сто раньше, чем обычно считается...

Для «неистового Виссариона» *социальность* всегда была важнее всего: не этим ли он возносил себя на высоту *судии*, сам себе давая право поучать художников, направлять их перо...

Молодой критик был явно доволен собой: сразу по выходе журнала он писал В. П. Боткину: «Как тебе моя статья о Баратынском? Она скомкана, свалена, а, кажется, чуть ли не из лучших моих марадий».

В 1843 году – возможно, вскоре после появления этой статьи – Боратынский написал одно из самых горчайших своих стихотворений «Когда твой голос, о поэт...» – о непонимании, на которое обречено творчество истинного художника.

Некоторые исследователи предполагали, что это произведение – отклик на смерть М. Ю. Лермонтова. Возможно, отчасти верно. Хотя к Лермонтову – писателю и человеку – Боратынский, отдавая должное его дару, относился довольно прохладно. Об этом свидетельствует его первое впечатление от поэта, с которым он познакомился в Петербурге в 1840 году, а также молчание в письмах по поводу трагической дуэли в Пятигорске (впрочем, не все они сохранились). Плетнёв, сообщая Гроту о том, как в Петербурге к нему внезапно явился «старый друг Боратынский с 14-летним сыном Львом», писал 8 сентября 1843 года: «<...> У Баратынского очень много натурального ума – и в его взгляде на нашу литературу есть что-то независимое и отчётливое. Между прочим, я помню его отзыв о Жуковском и Лермонтове. Они, сказал Баратынский, в некотором роде равны И. И. Дмитриеву. Как последний усвоил нашей литературе лёгкость и грацию французской поэзии, не создав ничего ни народного, ни самобытного, так Жуковский привил нашей литературе формы, краски и настроения немецкой поэзии, а Лермонтов (о стихах его говорить нечего, потому что он воспринимал лучшее у Пушкина и других современников) в повести своей “Герой нашего времени” показал лучший образец нынешней французской прозы, так что, читая его, думаешь, не взято ли это из Евгения Сю или Бальзака».

Всё ли верно запомнил и передал Плетнёв? Коли так, мнение Боратынского несправедливо: и *народного* и *самобытного* у Лермонтова более чем достаточно. Возможно, Боратынский не со всеми его стихами был знаком?.. Суждение же о романе Лермонтова – слишком предвзято. Впрочем, Боратынский не жаловал и прозу Пушкина, лишь Гоголь удостоился его похвалы. Что-то иное он ждал от русской прозы, нежели *лучших французских образцов*, и сам, после своего явно неудачного опыта с повестью «Перстень», вновь намеревался взяться за роман... Кроме того, Лермонтов был для него – из другого поколения, к которому он, как признавался в стихотворении «На посев леса», «летел душой», да не получил «ответа».

Было ли стихотворение «Когда твой голос, о поэт...» ответом на статью Виссариона Белинского, с его «уничтожающим» приговором? Большой вопрос. Скорее всего Боратынский вновь рассматривал в целом участь *последнего поэта* в со-

временном мире, вспоминая Дельвига, Пушкина, – и уже «примеривал» на себя свою посмертную поэтическую судьбу. Коль так, то здесь исключительно важна его общая самооценка и, в частности, мнение о собственной последней книге. Эта оценка почти напрямую высказана в первых двух строках стихотворения:

Когда твой голос, о поэт,  
Смерть в *высших* звуках остановит...

По этим стихам, во-первых, видно, что Боратынский считал «Сумерки» вершиной своей лирики. Во-вторых, относил себя к тому типу поэтов, которые развиваются в течение всей своей жизни, набирая всё новую и новую высоту, и только смерть останавливает их. И, наконец, в-третьих, в стихотворении невольно высказано предчувствие кончины, о чём поэт никогда не говорил, по-видимому, не желая тревожить ни жену, ни друзей...

Качественное изменение Боратынского как поэта почувствовал Степан Шевырёв, выпустивший рецензию на «Сумерки» в январе 1843 года в «Москвитянине»:

«Поэзия стихотворная предходит в истории всем прочим произведениям словесности: потому и начнём с неё. Здесь всего более обращает внимание наше книжка маленькая, едва заметная по наружности в груди книг прошлого года: это “Сумерки” Боратынского. Поэт принадлежит к поколению Пушкина и, по связи особенной с музою Жуковского и Батюшкова, может быть назван даже старшим его сотоварищем. Всего более поражает в “Сумерках” Боратынского чудное изменение, в нём происшедшее: глубокая сосредоточенная меланхолия – плод опыта жизни – удалила всё прежнее, лёгкие, светлые мысли и чувства, покрыла самую чёрною тенью живой образ его возмужалой музы и воцарилась на нём одна, без спутников, без всякого иного окружения. Такая метаморфоза в одном из сверстников Пушкина есть событие весьма замечательное и достойное изучения: мы к нему возвратимся и постараемся разгадать её причину».

Остаётся сожалеть, что Шевырёв не выполнил этого своего обещания...

Из современников поэта, пожалуй, непримиримей всех оценил его позднюю лирику Николай Васильевич Гоголь. В статье «В чём наконец существо русской поэзии и в чём её особенность» (1846) он пишет: «Боратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они ещё не вызрели в нём самом; тёмный и неразвившийся, стал выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким». Статья вошла в самую «категоричную» книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», и его мнение отнюдь не бесспорно. Поэт – всё же не философ, с какой-то определённой системой взглядов, и уж тем более не религиозный мыслитель, каким был или же хотел стать сам Гоголь в ту пору, – поэт принадлежит глубинам интуиции, и судить его надо по законам поэзии...

Только потомки разглядели то, что современникам не открылось в Боратынском, – поистине, *большое видится на расстоянии*.

Само название его последней книги – символ; Боратынский одним из первых русских поэтов выбрал в заглавие слово, разом определяющее и собственное душевное состояние, и дух того *железного века*, в котором ему довелось жить.

Первоначально поэт хотел назвать свою книгу: «Сон зимней ночи», – может быть, чтобы подчеркнуть «зиму дряхлеющего мира». По счастью, потом он подыскал куда более образное слово – с у м е р к и, вполне отвечающее замыслу всей книги. По замечанию филолога М. Н. Дарвина, «“Сумерки” – это не просто слово, но как бы **имя** текстов, объединённых под одной обложкой поэтической книги <...>. “Сумерки” включают в себя как бы некие универсальные антиномии мира: свет и тьму, день и ночь, видимое и невидимое, уходящее и наступающее. Во взаимодействии этих разнообразных, а нередко прямо противоположных смыслов, и возникает образная семантика заглавия, обозначающая некое *переходное и незавершённое состояние мира*».

Потомки-исследователи подтвердили прозорливые слова Н. А. Мельгунова, высказанные ещё до появления «Сумерек», в 1838 году, о том, что Боратынский «<...> в своём втором периоде возвёл личную грусть до общего, философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества». Так, Алексей Песков заметил, что если в первых своих двух сборниках Боратынский «<...> акцентировал индивидуальный смысл <...> душевных состояний и духовных исканий, то в “Сумерках” эти состояния и искания “укрупнены” (С. Бочаров) и предстают как общие свойства бытия и мышления. “Сумерки” – книга философических ответов, данных с позиций сверхзнания – знания, выходящего “за грань чувственного”, “страстного земного” <...>».

Действительно, в «Сумерках» лирика Боратынского, оставаясь столь же искренней и честной, как прежде, преобразилась в новое качество – «сверхплотное» по энергии слова и образов, по отчётливости самосознания, по глубине мысли – и до предела постигла как свой век в перспективе времён, так и жизнь человечества в целом. «Перед нами человек, погружённый во тьму сумерек и подводющий итоги протекшего дня, человек, проживший свою жизнь и спрашивающий самого себя о том, принесла ли она плоды и имеет ли хоть какую-либо ценность, – пишет Гейр Хетсо. – Его ответ может показаться отрицательным: “Сумерки” – книга о больших сомнениях. Но пессимизм Баратынского, в силу своей искренности и правдивости, очищающий пессимизм. Он скорее укрепляет, чем разрушает».

«“Сумерки” стали первой целостной книгой стихов в русской поэзии, – подводит итоги осмысления последней книги Боратынского критик Алексей Машевский. – Не сборником отдельных произведений, сгруппированных по жанровому принципу, а именно книгой с единым смысловым полем, единым авторским взглядом на мир, единой лексической и интонационной канвой. <...> При этом Баратынский ориентировался, конечно, на западноевропейских литераторов (в частности, Барбье, Гюго – у последнего был поэтический цикл под названием “Песни сумерек”), однако шёл дальше них в решительном преодолении жанровой однородности объединённых в едином смысловом ряду произведений».

Книга замечательно решена в композиционном отношении. Можно сказать, что каждое последующее стихотворение вытекает из предыдущего, внося всё новые и новые оттенки в захватывающий, очень глубокий разговор о судьбе человеческой духовности в новую эпоху. <...> Мы всё время сталкиваемся с рефлексией по поводу высказанных мыслей, постоянными возвращениями к тому или иному мотиву на новом уровне. Наконец, все они сойдутся в грандиозном стихотворении “Осень”, в котором Баратынский как бы и попытается прорвать

роковой круг одиночества и обречённости, замыкающий человека. Эта попытка не приведёт ни к каким положительным утверждениям, даже напротив – финал пьесы будет пропитан безысходной тоской и горечью, но парадоксально окажется, что именно честная констатация самых неутешительных истин (с которыми одновременно никак не может и никогда не сможет примириться дух) выглядит как этическая, по крайней мере, эстетическая победа».

От современников Боратынского ускользнула тайна его последней книги: по привычке они посчитали «Сумерки» рядовым стихотворным сборником, не заметив, насколько духовно близки друг другу стихи и как они дополняют одно другое, восходя мыслью и чувством словно бы по спирали на высоту познания жизни. Силой своего гения поэт преобразил небольшое собрание произведений – в книгу стихов. А это уже послание – и современникам, и потомкам.

По мнению филолога Евгения Лебедева, уникальность творческого опыта Боратынского заключается в том, что он сумел примирить, казалось бы, непримиримое: оставаясь поэтом, был ещё и исследователем. «Умение это проявилось в нём достаточно рано и органично <...>. Но высшей точки в совершенствовании дарованного ему исследовательского качества Боратынский достиг, конечно же, в “Сумерках”, которые показывают, что *методом* своей лирики, типом своего художественного мышления он, как никто из его современников-поэтов, был близок к выдающимся нашим “прозатарам” – Н. В. Гоголю, М. Ю. Лермонтову, В. Ф. Одоевскому, а из более молодых – Ф. М. Достоевскому».

Евгений Лебедев подчёркивает, что «Сумерки» особенно замечательны по своему «исследовательскому пафосу», по умению точно понимать и определять явления жизни, – «по совершенно уникальной для лирика способности подойти к своему духовному опыту как к *объекту* познания, взглянуть на него со стороны, отделить его от себя, провести почти скрупулёзный анализ того или иного состояния души и дать почти “клинически” безупречную его картину <...>».

Тем самым Боратынский, считает исследователь, предварил главное в развитии русской словесности 1830 – 1840 годов – но и «отпугнул» от себя читателя тем, что «перегрузил» стихи мыслью, оказавшись «между небом поэзии <...> и едва опознанной землёй прозы».

Е. Лебедев вовсе не настаивает на безоговорочной верности своих заключений, заявляя, что это лишь его авторская позиция. В самом деле, так ли уж «перегружены» мыслью стихи в «Сумерках»? Нарушено ли в книге то золотое чувство меры, когда поэзия ненароком «впадает» в прозу? Думается, всё же нет, хотя гармония поэзии «позднего» Боратынского, несомненно, изменилась: на смену светлой грусти прежних элегий пришла сумрачная, безысходная печаль. Однако и «нагой меч мысли» не разрушил ту глубокую непреходящую музыку, которой пронизана его последняя книга. Напевны хорей «второго голоса» в «Последнем поэте»; «невесомая» лёгкая мелодия слышна в воздушных мытарствах *недоноска*; насквозь музыкален отрешённый речитатив «Бокала»; стихотворение «Были бури, непогоды...» – поётся как народная песня. Что же говорить об «Осени», удивительной по разноголосию, по оркестровке стиха: это поистине симфоническая песнь!.. Так что уникальность Боратынского, по-видимому, не столько в «исследовательском пафосе», а в том, что его природный лиризм растворил в себе и одолел ту необычайно весомую мысль, которая присуща его поздним стихам.

Подводя итоги своему исследованию книги «Сумерки», Евгений Лебедев высказывает глубокое, хотя и парадоксальное, наблюдение о том, что эта книга одна из тех, что подготовила почву для великой прозы Достоевского:

«“Сумерки” представляют собою первую пробу художественного метода, характерного для “романа идей”. Боратынский, в сущности, одновременно с нашими прозаиками <...> понял необходимость перемен во взглядах на композицию. Однако же стихотворная форма книги обусловила тот печальный факт, что ростки принципиально нового художественного мышления в “Сумерках” не были узнаны. <...>

Прочитанная как единое художественное целое эта книга наряду с “Героем нашего времени”, “Мёртвыми душами” и “Выбранными местами из переписки с друзьями”, “Русскими ночами” <...> представляет собою выдающийся литературный памятник одного из сложнейших периодов русской общественной и культурной истории. Без “Сумерек” противоречивейшая картина духовной жизни эпохи была бы неполной. Это глубокий поэтический и пронзительный человеческий документ её: эпоха как бы очнулась от тяжёлого забытья, в котором она пребывала после декабрьской катастрофы, очнулась посреди сумерек – и человеку трудно понять, то ли это сгущается вечерняя мгла и за нею идёт беспросветная ночь, то ли это редущая утренняя мгла, предтеча нового дня».

«Сумерки», по твёрдому убеждению Е. Лебедева, представляют собою редкий пример «высшей смелости» художника, о которой писал Пушкин, – «смелости изобретения, создания, где план обширный объёмлется творческой мыслию».

## Глава двадцать четвёртая ЭЛИЗИЙ ЗЕМНОЙ

### Молитва

Новый 1843 год Боратынские встречали в Мураново дружной большой семьёй. Отстроенный заново, после двухлетних трудов, дом оказался, как и мечталось, хорош и очень тёпел: даже в бури при сильных морозах «никто не знал, с которой стороны непогода». Дом был полон детей: к собственным семерым прибавились ещё две крошечные дочери Путят. Николай и Софья со старшей дочерью в то время путешествовали по Европе, «наслаждались Италией», и Боратынский сообщал родителям, что их малютки живы-здоровы и что «Олинька всякой день милее», а Катинька «чрезвычайно похорошела». Деревенское уединение скрашивали гости: сначала приезжала сестра Путяты Анна, а потом сёстры Боратынского Натали и Софи. Хозяйственные перемены, затеянные Боратынским, шли неплохо: лесной торг в околodge, как он писал Н. Путяте, «совершенно в наших руках». В Москву по зимним дорогам добираться было непросто, и взрослые больше, на радость детям, сидели дома.

Поэт обдумывал будущую зарубежную поездку и спрашивал путешествующего друга, не дорого ли проживание в Европе. Ему хотелось наконец побывать в любимой с детства, по рассказам своего дядьки «Жьячинто», Италии, да и познакомить старших детей с Европой, что так необходимо для их воспитания и образования.

С сестрой Софи Боратынский передал маменьке в Мару французские литературные новинки: романы Жорж Санд «Консуэло» и «Занони», заметив про них в письме: «Европейские умы поворачиваются к мистицизму. Материальная революция завершена. Да будет угодно Господу, чтобы нынешний период усталости оказался сном, предшествующим новому рождению поэзии, чьё существование одно лишь и свидетельствует о счастье народов и их подлинной жизни» (*перевод с французского*).

Не о себе ли невзначай проговаривался? Стихов у него в ту пору почти не было, и хоть с выходом книги «Сумерки» он в очередной раз «попрощался с поэзией», всё равно в глубине души ожидал своего возрождения. В редких произведениях того времени видны усталость от помещичьей жизни и раздражение от критиков, ничего толком не понимающих в его поэзии. В эпиграмме «Коттерии» поэт с презрением пишет о «бездарных писцах-хлопотунах», в стихотворении «На посев леса» намекает на некие «пиры злоумышления». Равнодушие собратьев по перу, по-видимому, всё же было нестерпимо для него, отошедшему в сторону от журнальной борьбы. Вряд ли, что это лишь мнительность, порождённая острой чувствительностью. Ведь в очередной рецензии В. Белинского, вышедшей в начале 1843 года в «Отечественных записках», есть и новые нападки: «<...> и лучше совсем не писать поэту, чем писать такие, например, стихи <...>»: критик приводит стихотворение «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..», заключая словами: « – Что это такое? неужели стихи, поэзия, мысль?» Такая критика вкупе с мрачным воображением делали своё...

Спасибо злобе хлопотливой,  
Хвала вам, недруги мои!  
Я, не усталый, но ленивый,  
Уж пил летийские струи.

Слегка седеющий мой волос  
Любил за право на покой;  
Но вот к борьбе ваш дикий голос  
Меня зовёт и будит мой. <...>

Спасибо! молодость вторую,  
И человеческим сынам  
Досель безвестную, пирую  
Я в зависть Флакку, в славу вам!  
(1842?)

Но в общем своём настроении письма Боратынского той поры дышат благодушием: самые хлопотливые дела почти завершены, всё ощутимей предвкушение долгожданного путешествия. Он сообщает матери об успехах младшего брата Ираклия, который стал губернатором в Ярославле и вызвал в обществе своими манерами, снисходительностью и приветливостью «искреннее одушевление». Поздравляя Александру Фёдоровну с Пасхой, поэт желает ей и всему семейству яркого солнца, свежей зелени и цветов. А у них в Мураново ещё лежат снега и по ночам морозно. Пешком не пройдёшься, зато дети совершают верховые про-

гулки. «Весна принесёт мне развлечения, состоящие из новых трудов, – легко шутит он. – Надо закончить несколько построек и произвести много земляных работ. Затем последуют работы полевые, в которых я тоже участвую, ибо как только я выхожу из дома, сразу вижу трудящихся крестьян: наше маленькое поместье можно окинуть одним взглядом. Я забавляюсь тем, что отдаю приказание с ошибками, чем доставляю старосте удовольствие указать мне на них. Знаете ли, что это единственный способ добиться у этих людей того, что им известно? <...>» (перевод с французского).

Сестре Наталии пишет с ещё большей самоиронией: «Через несколько дней я вновь начну страдать семейной болезнью – манией строительства, а пока лишь взором слежу за неспешным таянием снега» (перевод с французского).

В словах о «семейной болезни – мании строительства» поэт, разумеется, вспоминает отца, создавшего в Маре замечательный уголок для жизни, с красивым удобным домом и парком, в котором было столько чудес, пленяющих детское воображение. Конечно, мурановское поместье куда как скромнее по размерам, тут не развернёшься, не то что просторная Мара, но ведь и в нём всё можно неплохо устроить. Тягой к совершенству Боратынский, несомненно, обязан отцу, Абраму Андреевичу, – и это особенно проявилось в бесконечной отделке стихов и поэм...

С годами весеннее пробуждение природы стало наводить на него острую тоску. В ту ли весну 1843-го или предыдущую поэт сочинил своё прекрасное стихотворение «На посев леса»:

Опять весна; опять смеётся луг,  
И весел лес своей молодой одеждой,  
И поселян неутомимый плуг  
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,  
Но нет уже в душе моей надежды,  
Уж дольний мир уходит от очей,  
Пред вечным днём я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,  
Что греет сев для будущего мира <...>.

*Весна* природы смешалась в стихах с *зимой* возраста и *вечным днём* загробной жизни: в пору цветения земли чувство смерти сильнее всего...

Но прах земли не перешёл пиит,  
К её сынам ещё взывает лира. <...>

Однако напрасен этот зов: ровесники, как чудится ему, умышляют зло; а «новые племена» пустоцветны и не слышат его голоса:

Ответа нет! Отвергнул струны я,  
Да хрящ другой мне будет плодоносен!

И вот ему несёт рука моя  
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,  
Я верую: её заменят эти,  
Поэзии таинственных скорбей  
Могучие и сумрачные дети.

Но разве же семена деревьев – скорбны? Похоже, тут речь не только о них. По своему *могучему и сумрачному* существу что же это, как не собственные стихи Боратынского. (Даже один из эпитетов буквально повторяет название его последней книги.) Стихи, они и есть *дети* поэта, зародыши духа и души, посеянные в нескончаемые времена...

### «Страстное земное...»

К 1842 или 1843 году, как раз к той поре, когда он «оставил лиру», относят его стихотворение «Молитва». Совсем немного слов – и ещё меньше просьб. Шесть строк, простых, строгих и трагичных...

Боратынский смотрит и на себя, и на *дольний мир*, словно бы тот отдалился и виден весь в огляде прожитой жизни. В его сердце предчувствие недалёкого уже – *вечного дня*. Не потому ли поэт ещё взыскательнее, требовательнее к себе: душе предстоит Высший суд...

Прежде во всей поэзии Боратынского молитв не было. *Единственность* такой скупой мольбы свидетельствует о её необычайной важности.

Царь Небес! Успокой  
Дух болезненный мой!  
Заблуждений земли  
Мне забвенья пошли  
И на строгий Твой рай  
Силы сердцу подай.

Не исцели, не избавь – *успокой*. Поэту даже и не мечтается о полном освобождении от мучений, он попросту не верит в своё выздоровление, считает его невозможным.

Чем же *так болел* дух этого на вид вполне благополучного человека?

...Да, был проступок в юности; потом наказание, довольно мягкое, хотя и продолжительное; однако это лишь эпизод его жизни, внешне в целом весьма счастливой: безоблачное детство, рано воплощённый дар, дружба с лучшими из современников, любовь и согласие в семье...

Критик Дмитрий Мирский (1934) считал, что Боратынский остро и мучительно переживал своё идейное и творческое одиночество, бессилье «стать нужным обществу» и обиды «на его равнодушие». Его *дикий ад* («Когда, дитя и страсти и сомненья...»), по Мирскому, – это «эгоизм», пустотой которого поэт мучительно

тяготился, пытаюсь найти хоть какой-нибудь выход из него. И всё это происходило на фоне «безверия» и смутной, ясно не определившейся тяги к религии...

Отчасти, пожалуй, и так. Но это касается лишь последних лет жизни. А как же с признаниями в письмах в том, что он был несчастлив и в самом раннем детстве? Стало быть, ещё тогда в нём проявился его *болезненный дух*...

Писатель Сергей Андреевский (1888) гораздо глубже в своём интуитивном постижении Боратынского: «Поэт-мыслитель, поэт-метафизик, Баратынский постоянно порывался “перейти страстное земное”, и вся его муза есть муза глубокой скорби о каком-то необретаемом идеале».

Что это за «необретаемый идеал», Андреевский не поясняет.

Образ «страстного земного» появляется в 14-й строфе стихотворения «Осень». С горечью заметив, что «пошлый глас, вещатель общих дум» иногда находит в толпе «звучный отзыв», Боратынский восклицает:

Но не найдёт отзыва тот глагол,  
Что страстное земное перешёл.

Конечно, это о себе, о своей поэзии.

*Страсть* – страданье, муки, мученье, душевная скорбь – и ещё: алчба, безотчётное влечение.

Словом, *страстное земное* – земные мученья человеческого духа.

Стихи *перешли* – преодолели их (хоть и не нашли отклика в людях, в обществе), однако сам поэт – не перестал мучиться.

«<...> Рассудочность и мечтательность в разладе у многих людей, но между этими враждебными сторонами человеческой сущности у большинства наступает со временем некоторый слад, водворяющий внутреннее равновесие. У Боратынского же наблюдается феномен какого-то особенного непримиримого развития этих сил. Он вложил в искусство живую книгу своего страдания, книгу искреннюю, глубокую и потому прекрасную», – заключает С. Андреевский.

Исследователь далёк от того, чтобы точнее определить причину этого «феномена», понимая, что *чужая душа потёмки*.

Попытку разгадать тайну Боратынского сделал поэт Юрий Колкер. В своей статье «Загадка Боратынского» (2000) он так же, как и С. Андреевский, замечает, что, хотя ничего особенно трагического в жизни Боратынского не было, «<...> ни у одного русского поэта трагичность мироощущения не достигает такой напряжённости».

По мнению Ю. Колкера, подлинная трагедия Боратынского началась после отставки и женитьбы. «Для Боратынского женитьба связана с поисками смысла жизни, с жадой совершенства, иначе говоря – с богоискательством. Не в силу старинной церковной формулы, а на самом деле, она для него – таинство перед Богом». Поэт духовным взором увидел, что его молодая жена *прекрасна*. «Таковой она и осталась для него с первого до последнего дня. Он и умирает от сердечного приступа, вызванного страхом за её здоровье». А загадка Боратынского в том, что он пытался «превзойти человеческую природу (и природу вообще) <...> или, говоря его словами, *перейти* “страстное земное”. <...> Этот беспримерный порыв к сверхчеловечеству состоял не в отвержении *слишком человеческого*, а принятии его на себя во всей полноте – и в пресуществлении духовным подвигом».

Ю. Колкер и толкует этот поэтический образ («страстное земное») в основном *по-земному* – как выражение «природной» страсти:

«Заточение, изгнание, бедность, непризнание и лишения – всем этим испытаниям поэты подвергались на протяжении веков и преспокойно выдерживали их. Ни одно из этих испытаний не идёт в сравнение с испытанием полным счастьем, ибо не отнимает у поэта будущего, не лишает авантюрного начала, не посягает на инстинкт охотника. Зов предков, биологическое задание, состоящее в том, чтобы пристроить своё наследственное вещество наилучшим и наилучшим образом, через это утвердившись в потомстве; зов, преломляемый и претворяемый в творческий инстинкт, – этот неистребимый зов Боратынский хочет в себе подавить. Он бросает вызов природе или, если угодно, Творцу. Адюльтер, светские ухаживания, а с ними – и свою молодость, поэт отвергает как пошлость. В главном, в поэзии, он торжествует: его стихи приобретают небывалый по глубине и насыщенности тон. Но цель его не в этом, и трагедии он не домогался. Цель его состояла в чистоте, полноте и целостности, в идеале прекрасных соразмерностей, воплощённом не только в поэзии. И этой цели он не достигает. Трагическую сущность бытия лучше всего заслоняет от нас суетное: слава, успех (для мужчины прежде всего – успех у женщин). Усилием разума и воли отвергнув суетное и пошлое, Боратынский на чувственном уровне остаётся всего лишь человеком. Добровольным затворничеством он тяготится; последней и безупречной целостности не достигает, – и это своё несовершенство переживает как величайшую трагедию».

Что ни говори, эта разгадка трагичности поэта – весьма приземлённая.

Как нам видится, по-настоящему мучило Боратынского не сколько личное несовершенство, сколько вообще несовершенство человека. Всё это в высшей степени проявилось в «Недоноске» – в образе фантастического межумочного существа, томящегося «меж землёй и небесами». Не за эту ли участь по смерти, в «обители воздаянья», жаждал поэт получить *оправданий Незримого* – Бога («Отрывок») – «пред нашим сердцем и умом»?..

Иван Киреевский знал Боратынского очень хорошо: в течение шести лет теснейшим образом дружил с ним. Категорически ничего не утверждая, он в некрологе высказал лишь предположение о том, в чём была причина «неотразимой грусти» поэта:

«Впрочем, может быть, он и от природы уже был склонен к этому направлению мысли, которое очень часто замечается в людях, соединяющих глубокий ум с глубокою чувствительностью. Оно происходит, вероятно, оттого, что такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют её высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно чувствуют бедность земного бытия. Оттого они даже в кругу забав и шумных удовольствий часто кажутся печальными; оттого самое чувство радости для них бывает соединено с непреодолимою задумчивостью и скорее похоже на грусть, чем на весёлость обыкновенных людей».

То есть трагичность мирозерцания была в Боратынском *врождённой* – и с годами только развивалась, превратив наконец его жизнь, по собственному же признанию, в *дикий ад*.

В одной-единственной своей «Молитве» он ничего не говорит о неизбежности первородного греха, о всех превратностях пути человечества – он просит у Царя Небес лишь *забвенья* «заблуждений земли» и сердечных сил на Его *строгий рай*.

«Проповедь Баратынского – это проповедь сомнения, – пришла к выводу Ирина Семенко; – у него “откровенья” – “откровенья” преисподней <...>. Но именно в этом и заключалась сила его духа, именно это наложило печать *бесстрашия* на поэзию Баратынского, сумевшего “улыбнуться ужасу”. <...> Человек в лирике Баратынского наделён величайшим самообладанием. Силой своего высокого искусства он эстетически преображает жизнь, о несовершенстве которой скорбит <...>».

С этими мыслями сходятся и выводы Евгения Лебедева:

«<...> Боратынский уже с самых первых шагов в литературе остро ощутил своё высокое предназначение, осознал его беспредельную власть над собой, ещё не вполне понимая, какого рода это предназначение, ещё не умея дать определение этому категорическому императиву своей поэзии. Однако ж туман рассеялся очень скоро, слово нашлось, задача была определена, и цель засияла перед молодым поэтом во всём её нестерпимом величии:

Я правды красоту даю стихам моим.

<...> Великий поэт потому и велик, что в решающую минуту всего себя, без остатка, отдаёт истине. Подчиняется ей безоговорочно. <...>

В известном смысле вся поэзия Боратынского представляет собою потрясающее человеческое свидетельство того, какую тяжёлой ценой даётся познание “правды без покрова”».

Необычная метафора Боратынского о *строгом рае* напоминает о словах Христа из Нагорной проповеди: «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф, 7, 14).

«У нас нет никакого основания сомневаться в том, что Боратынский умер “созревшим для Неба”», – пришёл к выводу Гейр Хетсо, говоря о последних стихах поэта.

### За границей. Германия, Париж

С наступлением лета Боратынскому было уже не до созерцания природы. Целый месяц он «на ногах»: побывал на межевании в своих имениях Скуратово Тульской губернии и Глебовском на Владимирщине.

Проездом в Москве, сходил на концерт знаменитого пианиста и композитора Ференца Листа – и написал маменьке о своём впечатлении, обнаружив чрезвычайно тонкое понимание исполнительского мастерства:

«<...> Я слышал Листа и остался не так доволен, как ожидал. Стремительность его игры превышает всё доступное воображению, но превышает и возможности фортепьяно. Звуки следуют один за другим так скоро, что сливаются в смутный шум, не приносящий особенного удовольствия. От этой быстроты рояль задыхается. К тому же я не нашёл у него подлинно музыкального чувства. Прекраснейшие мелодии он портит украшениями, не имеющими ни смысла, ни цели. Его форте и пиано-пианиссимо, великолепные сами по себе, не производят впечатления, ибо не выражают подлинного музыкального замысла. Он претендует на импровизации, а исполняет одни гаммы. Я решительно предпочитаю ему Тальберга. Здесь ему устроили овацию, смешную по двум причинам: во-первых,

потому что это был заёмный энтузиазм, главная цель которого – не отстать от берлинцев, а во-вторых, будь даже этот восторг неподдельным, он превышал всякую меру, большего не могли сделать даже для спасителя отечества. Есть отчего разочароваться в славе <...>» (перевод с французского).

В конце августа давний знакомый Боратынского Пётр Кичеев случайно встретил поэта с семьёй в небольшом сельском храме, расположенном между Мураново и Троице-Сергиевой лаврой. «<...> я отправился с женою в своё переяславское имение, сельцо Деревково, намереваясь на обратном пути заехать в Мураново, – вспоминал Кичеев. – По дороге мы посетили Хотьков монастырь. При входе в храм слышим поют: *со святыми упокой*, и в эту же минуту нас окружают Евгений Абрамович, его супруга и семейство его. Пошли взаимные приветствия и рекомендации, так как со мной была второбрачная жена, ещё незнакомая с Баратынскими. Наконец, они просили нас заехать к ним, на обратном пути в Мураново и объявили, что в первых числах сентября они отправляются за границу».

По-видимому, 7 сентября 1843 года Боратынские всей семьёй приехали в Петербург. Остановились у Путят. На следующий день поэт, взяв с собой старшего сына Лёвушку, навестил Петра Александровича Плетнёва, – для хозяина дома этот визит был неожиданным и приятным.

Плетнёв по смерти Пушкина издавал его журнал «Современник», и с каждым годом держаться на плаву становилось всё труднее: подписчики убывали. Боратынский настоятельно попросил его не «прекращать» журнала: возвратившись из-за границы, он собирался поселиться в Петербурге, вот тогда они вместе и начнут «деятельно работать»...

«Деревня и Москва ему ужасно надоели», – сообщал Плетнёв после этой встречи Я. К. Гроту. Впоследствии, по внезапной кончине поэта, Плетнёв писал к Николаю Коншину, что Боратынский перед поездкой много толковал с ним о будущем: «<...> Он непременно хотел соединиться со мной для работы по *Современнику*, почувствовав, что только журналом можно противодействовать возрастанию бесстыдного самохвальства невежд».

10 сентября Боратынский отправил записку Петру Андреевичу Вяземскому: «Очень мне совестно, что я не догадался вам оставить адреса новой квартиры Путята, чем и лишил себя удовольствия видеть вас сегодня. Завтра я целое утро в хлопотах и потому прибегаю к вам вместе с моими хозяевами с покорнейшею просьбою: не откажите у нас обедать. Вы увидите, между прочим, Одоевских. Собираются в 5 часов. Во всяком случае я не оставлю Петербурга, с вами ещё раз не повидавшись и не получив вашего благословения на моё европейское пилигримство. – Е. Боратынский».

Дружеский обед у Путят состоялся, как и было намечено. Присутствовали Одоевские, Соболевский, Россет, Плетнёв. Это была последняя встреча поэта с его старыми друзьями...

Вскоре Боратынские отправились в своё дальнейшее путешествие. Вместе с родителями поехали старшие дети Александра и Лев и младший сын Николай; Мария, Дмитрий, Юлия и Зинаида остались в Петербурге на попечении Николая и Софьи Путят.

До прусской границы ехали в шестиместном дилижансе; потом через Кенигсберг до Берлина добирались на почтовых.

Около 10 октября Боратынский написал из Дрездена к маменьке в Мару о своих первых заграничных впечатлениях:

«<...> Дороги великолепны, и почтовая часть в удивительном порядке. Мы провели два дня в Кенигсберге и одиннадцать дней в Берлине. Со мною было рекомендательное письмо к секретарю нашего посольства, которым я воспользовался. Я представился нашему посланнику барону Мейндорфу, человеку весьма вежливому и весьма любезному. Я обедал у него с графом Блудовым, с которым уже прежде был знаком. Он путешествует с дочерью и возвращается теперь в Петербург. Я провёл у них один вечер. Мы в первый раз испытали впечатление железной дороги, съездивши в Потсдам; видели там дом, где жил Вольтер, и небольшие покои Великого Фридриха, без сомнения великого, если принять в соображение, что он, почти один, создал Пруссию и положил первые основания её теперешней администрации. – Берлин – прекрасный город; он не так хорош, как Петербург, но лучше в отношении размеров. – Жизнь в нём отличается крайней правильностью. Возможные отношения здесь предвидены и установлены навсегда; торговые – давностью, общественные – обычаями, никогда не нарушаемыми. Здесь гражданин, сам того не подозревая, подчиняется такой же дисциплине, как солдат. В несколько дней применяешься к заведённому порядку и наслаждаешься чувством чрезвычайного спокойствия, доставляемым этим совершенным отсутствием всего непредвиденного <...>» (здесь и далее – перевод с французского).

В Дрездене они, «само собою разумеется», побывали в знаменитой галерее Боратынского, как впоследствии и Достоевского, больше всего поразила «Мадонна» Рафаэля:

«<...> это торжество идеи христианства: восторг, ею возбуждаемый, никогда не истощится. Лучше не говорить о ней, и пусть поколение за поколением преклоняются перед этим божественным произведением».

О христианстве, как и вообще о религии, о вере, он высказывался крайне редко и скупно, предпочитая молчать, – но тут обронил несколько слов, обнаружив полное понимание увиденного шедевра. Конечно, это косвенное свидетельство, а не прямо проявленное чувство, но всё же такое сердечное впечатление свидетельствует не о религиозном скептицизме, который часто приписывали поэту, а о врождённом религиозном целомудрии, которое пуще всего опасается многоглаголания.

«Не могу не упомянуть о произведении менее знаменитом, но, может быть, столь же великом по выражению возвышенной скорби – это *Христос с динарием* Тициана», – продолжает Боратынский. И вновь он совпадает во мнении с Достоевским, который позже утверждал, что *Христос с монетой* «<...> может стоять наравне с *Мадонной* Рафаэля».

Характерно, что оба писателя как бы и не придают значения эстетическому удовольствию от гениальных полотен, а созерцают их духовную сущность.

В поездке по Германии Боратынские испытывали двойное наслаждение красотами природы, поскольку радовались ещё и «живым и свежим» восторгам своих детей. Особенно всех впечатлила «прелестнейшая» Тарентская долина близ Дрездена.

Однако, когда по дороге из Лейпцига в Дрезден они въехали в длинный туннель, поэт вдруг испытал настоящий ужас. «Представьте себе подземелье,

– продолжает он письмо, – которым едешь более трёх минут, где совершенный мрак заставляет как-то опасаться, что не достанет воздуха. Я так беспокоился о жене, которая склонна к удушьям, что был совершенно бледен, когда мы возвратились к свету».

Это страшное беспокойство за его Настеньку, что внезапно обрушилось на него, – предвестие того, что случится позднее, в Италии... В последний раз до этого Боратынский заболел от своей чрезмерной чувствительности шесть лет назад, когда узнал о трагической кончине Пушкина. И вот опять повторилось то, что преследовало его всю жизнь, начиная с юности, и о чём он, вероятно, сообщил только родной матери...

В те полтора десятка лет, что они прожили с женой одной семьёй, одним существом, Боратынский настолько сроднился с любимой женщиной, что не представлял без неё своей жизни. Эта сроднённость дала ему силы, вознесла над обыденностью, но и сделала особенно уязвимым. Малейшее недомогание Настасьи Львовны, – а их было немало, – отражалось в поэте сугубой болью. Неспроста именно в заграничном путешествии Боратынский написал одно из самых проникновенных своих лирических стихотворений, которое было напрямую обращено к жене: «Когда, дитя и страсти и сомненья...». По воспоминаниям сына, Льва Евгеньевича, стихотворение было создано зимой 1843-1844 годов в Париже, то есть буквально через месяц-другой после происшествия в туннеле...

Позже, в Лейпциге, Настасья Львовна написала письмо к Путятам, и Боратынский добавил к нему несколько слов: «<...> теперь едем в Франкфурт, на немецких длинных, т. е. с лонкучером. Будем останавливаться на ночь и в пятый день должны быть на месте. Я очень наслаждаюсь путешествием и быстрой сменой впечатлений. Железные дороги чудная вещь. Это апофеоза рассеяния. Когда они обогнут землю, на свете не будет меланхолии <...>».

Последнее замечание, конечно, шутка – чуть грустная, но благодарная: рассеяние, доставленное железной дорогой, хоть на время послало ему *забвенье заблуждений земли...*

Из Франкфурта Боратынские добрались до Майнца, откуда по Рейну поплыли в Кёльн. Далее был поезд в Брюссель, а после – в Париж. В столице Франции было решено провести всю зиму.

Боратынский радовался, что хоть на несколько месяцев, но закончились «труды дальнего путешествия». Семья поселилась в центре Парижа на улице Дюпо близ бульвара Мадлен. Детям вскоре подыскали учителей, и жизнь пошла своим заведённым порядком, разве что теперь поэт отдавал много времени светской жизни, которую он так избегал в Москве.

Первым делом он заглянул в Сен-Жерменское предместье, где проживали аристократия, писатели и русские эмигранты, – благо, рекомендательными письмами его снабдил в Петербурге Сергей Соболевский, неплохо знавший парижский свет. Поначалу Боратынскому всё нравилось: и новые знакомства, и в особенности парижский люд, «<...> приветливый, умный, весёлый и полный покорности закону, которого он понимает всю важность, всю общественную пользу». Насчёт многого поэт, конечно, заблуждался, пленённый внешней лёгкостью обращения, тем не менее в письме к Путятам даже сравнил свои германские и французские впечатления:

«В Германии чувствителен ещё некоторый ропот на законы общественного устройства, которым повинуются: здесь ими гордятся люди, принадлежащие по-

следней черни. Несколько ясных мыслей общежития сделались достоянием каждого и составляют такую массу здравого смысла, что мудроно подумать, чтобы можно было совратить народ с пути истинного его благосостояния. Между тем партии волнуются. Я много слушаю и много читаю. Люди, вышедшие из рядов и наполняющие газеты и салоны, не тверды в своих мнениях. Здесь переметчики менее подлы, чем кажется с первого взгляда, и многие из них принимают мнение, противоположное прежде выраженному, с совершенно искреннею ветреностью <...>».

Светская жизнь Боратынского в Париже началась с места в карьер. В том же письме, второй половины ноября, он пишет:

«<...> Сегодня я буду у m-me Aguesseau, завтра у Nodier, послезавтра у Thierry. Всеми этими знакомствами я обязан Сиркурам. <...> Клянюсь очень Соболевскому, Плетнёву. Я вижу почти каждый день А. И. Тургенева, который теперь несколько нездоров. Он пеняет Вяземскому за то, что он к нему не пишет. Напомните ему обо мне. Вижусь с Балабиным, человеком очень умным, очень сведущим, с которым всякая встреча меня более и более сближает».

Дипломат и литератор, граф Адольф де Сиркур был женат на русской, Анастасии Семёновне Хлюстиной, в юности подруге Натали Гончаровой. В 1830-х годах, когда Сиркуры приезжали в Россию, графиня познакомилась и с Пушкиным; позже переписывалась с Жуковским. В Париже она была хозяйкой салона. Академик Н. И. Кошкарлов, посетивший её в 1842 году, то есть за год до приезда Боратынского, вспоминал: «Графиня де Сиркур постоянно жила в Париже и сделалась почти француженкой. Она была высокого роста, стройная, вовсе не хороша собой, но по своему уму, такту и элегантности достигла того, что весь образованный Париж преклонялся перед нею. Многие её называли “Коринной Севера”. В её гостиной <...> собирались лучшие представители аристократии, знаменитости наук и искусств <...>».

35-летняя графиня, сама литератор, автор многих статей, с восторгом отнеслась к знакомству с Боратынским и свела его с известными французскими писателями. Это были: Альфред де Виньи, братья Тьерри, Шарль Нодье, Шарль Огюст Сент-Бёв, Мишель Шевалье, Альфонс Ламартин. Боратынский также познакомился с Проспером Мериме и Маргаритой Ансело.

Боратынского представляют завсегда яам аристократических салонов Сен-Жерменского предместья. Он пишет матери в первой половине декабря: «Я вижу здесь графиню Т., маркизу А., внучку известного Президента, находящуюся в свойстве с родом Мортемар, который с нею пересекается, герцогиню Р..., которую я вам уже называл, графиню Ф..., дочь Академика, графиню Б., жену наполеоновского посланника в Швеции, а потом в Испании. Последняя принимает у себя дворянство времён империи, и я имел удовольствие видеть у неё маршала Сульта <...>» (*здесь и далее – перевод с французского*).

Сен-Жерменское предместье бедновато: все живут в маленьких квартирах, – «<...> но оно стоит чрезвычайно высоко в мнении счастливых мира сего, и всякий стучится у дверей его, которые редко открываются настежь <...>».

Поэту бросилось в глаза, что у «герцогини Р... лакей без ливреи, в помочах» – и докладывает о гостях, даже не растворив толком дверь, – а в комнате сплошь *аристократы старинного века*. «Весь этот мир, щепетильный до крайности, превозносит предания и вежливость прежнего времени, как бы обряды некоего священнослужения, коего тайны ему одному доступны. За неимением первенства

в политике, он бросился в пуританизм не нравов, а форм. Он не стеснителен для русского, живущего в Петербурге или Москве, почти при тех же общественных условиях, но он раздражает и возбуждает против себя ненависть француза нового времени. <...> Предместье содействует духовенству, почитая принцип легитимизма нераздельным с принципом владычества церкви, и все в большом движении <...>».

В тогдашнем Париже обосновалось много русских эмигрантов. Самым почтенным среди них был Николай Тургенев, с которым Боратынского познакомил его брат, Александр Иванович Тургенев, старый покровитель поэта. Боратынский часто посещал приёмы у Анны-Софьи Свечиной, близкой подруге госпожи де Сиркур, которую она уговорила вслед за собой перейти в католичество. В домах братьев Тургеневых и Свечиной поэт «познакомился или возобновил знакомство» с литераторами Н. М. Сатиным и Н. П. Огарёвым, публицистом И. Г. Головиным и другими русскими оппозиционерами. «Русские ищут русских в Париже и вообще в чужих краях. Самые ветреные из них догадываются, что у нас на сердце, и готовы на сантиментальность», – заметил он в письме к Путятам. И в этом же послании первой половины декабря 1843 года Боратынский тонко усмехается над своей новой участью:

«Хорошо, что я проведу в Париже одну только зиму, а то из человека с некоторым смыслом я бы сделался совершенным зевакой, а что хуже – светским человеком. Не я один, все парижане с одиннадцати часов утра до 12 вечера на ногах и проводят часы в визитах. Для настоящих парижан, имеющих свои виды, то деловые, то политические, посещающих каждое лицо с известною целию, эта жизнь не совсем убийственна; но для заезжего, несмотря на любопытство, она утомительна до крайности. Несмотря на приветливость лиц, на новостность явлений, чувствуешь недостаток прямых отношений, и, если бы я был в Париже без семейства, не знаю, вынес ли бы я подобное существование <...>».

*Недостаток прямых отношений* его уже явно угнетает своей показной радушностью, в которой никакой искренности и сердечности, а только привычное лицемерие...

Между тем Пётр Андреевич Вяземский бодро пишет Александру Ивановичу Тургеневу: «<...> Баратынскому мой сердечный привет. Дай ему раскусить Париж и дай особенно же Парижу раскусить его. Я не знаю человека умнее и приятнее его <...>».

Раскусил ли Боратынский Париж?

В чём-то да, в чём-то нет...

Внимательно изучив сен-жерменский свет, он пронизательно подметил косность французских аристократов, которые не читают ни Гюго, ни Эжена Сю, ни Бальзака, а лишь навязчиво склоняют новых своих гостей к перемене веры на католичество.

В смысле политических страстей тогдашней Франции Боратынскому явно не удалось разобраться, да, может, он и не стремился к этому. Гейр Хетсо справедливо замечает по этому поводу, что оценка Боратынским парижских событий не лишена наивности и легковёрности: «Хотя поэт у “нового француза” находит известное недовольство положением дел во Франции, но он вовсе не понимает классовых противоречий, лежавших в основе политической борьбы того времени. Читая письма Баратынского из Парижа, даже не подозреваешь, что Франция в то время находилась на грани революции. Поэт скорее всего несколько наивен, когда

с заметной благожелательностью изображает удовлетворённость французского народа существующими политическими порядками <...>».

Впрочем, Боратынский скоро заскучал в Париже и перестал вникать в сложности политических интриг, где и чёрт ногу сломит. В нём проснулась вдруг тоска по родине, радостное осознание того, что где-то есть его Россия, её снега, её просторы... Его предновогоднее письмо к Николаю и Софье Путятям совершенно необычно для него по своему лирическому пафосу, по своей сердечности:

«Поздравляю вас, любезные друзья, с новым годом, обнимаю вас, ваших и наших ребятишек; желаю вам его лучше парижского, который не что иное, как привидение прошлого, в морщинах и праздничном платье. Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовёт нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживём их, может быть, 12-ю столетьями. Каждую из этих фраз я могу доказать учёным образом; но теперь не время, оставим это до свидания, ибо из русских писателей нет ни одного, который менее бы любил писать того, который вас так нежно любит <...>».

Светская суэта ему не только наскучила, но сделалась «отменно тяжела». В начале января 1844 года он пишет Путятям: «<...> Буду доволен Парижем, когда его оставлю <...>».

С мрачным сарказмом он отзывается теперь о салонах Сен-Жерменского предместья: «Мы разъезжаем по вечерам fb. St.-Germain, верные покуда что православной греко-российской церкви. Католический прозелетизм здесь несносен. Меня заставили прочесть кучу скучных книг, и теперь у меня лежит на столе: “Institut des Jesuits” отца Равиньяна. Как ты думаешь, что это такое? Изложение статута ордена, писанное с простотою младенца или невинностью старика, потерявшего память, человеком лет сорока, замечательным своею учёностью и дарованиями. Вот моё определение этого произведения: *livre niais, écrit pour les niais par un homme qui n'est pas niais* <преглуповатая книга для преглуповатых читателей, написанная отнюдь не дурачком>».

В апреле, собираясь уже в Италию, поэт, однако, пишет Путятям, что есть лица, которых они покидают «даже с грустью». Что делать!.. путешественнику не следует нигде задерживаться, если он хочет в самом деле «пользоваться своим мизантропическим счастьем».

Но не сомнительно ли счастье, оказавшееся мизантропическим?

«Хотя хорошо за границей, я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-русски поболтать о чужеземцах».

За полгода в Германии и Париже он вполне ясно понял отличие французского света от русского и, несмотря на всё занимательное и отличный приём, пришёл к твёрдому выводу:

«<...> жизнь в чужих краях тем особенно прекрасна, что начинаешь больше любить своё отечество. Благоприятства более тёплого климата не столь велики, как думают, достижения цивилизации не столь блестящи, как полагают. Жители, коих я видел доселе, не стоят русских ни сердцем, ни умом. Они тупы в Германии, без стыда и совести во Франции, прибавьте к тому, что французы большие мастера только лишь в дурачествах <...>».

И наконец:

«Я вернусь в своё отечество исцелённым от многих предубеждений и полным снисходительности к некоторым действительным недостаткам, которые у нас есть и которые мы с удовольствием преувеличиваем <...>» (Из письма к А. Ф. Боратынской, около 10 апреля 1844 года; *перевод с французского*).

Знакомство с парижскими писателями получилось *шапочным*, а общение – по-верхностным: понятно, это никак не могло удовлетворить Боратынского. Графиня де Сиркур всячески пыталась заинтересовать мэтров французской словесности русским писателем, однако её усилия вряд ли были успешными. Сохранилась записка Альфреда де Виньи к госпоже де Сиркур, по которой хорошо видно, что его отношение к Боратынскому не больше, чем светская вежливость:

«<...> Я буду рад видеть поэта, пришедшего от вашего имени и столь ценимого вами. Но вот для меня новый повод сожалеть о незнании русского языка, с которого у нас так редко переводят. Я часто сокрушался об этом, ибо у меня есть друзья в его стране и мне хотелось бы услышать этих милых варваров на их родном языке. Но кто лучше их говорит на чистейшем французском? – Г-н Евгений Баратынский может пожаловать завтра или когда угодно, сударыня <...>».

«Милые варвары», прекрасно говорящие по-французски...

Ещё была на памяти война 1812-1813 годов, когда «цивилизованная» наполеоновская армия убивала, грабила, жгла, насильничала в русских городах и селениях, кощунствовала и пакостничала в православных храмах... А вот русские войска, погнавшие врагов прочь и взявшие Париж, отнюдь не ответили тем же, хотя вполне имели право отомстить. Москва была сожжена – Париж уцелел. Победители проявили милость к побеждённым. Император Александр I во всеуслышание заявил, что враг у него не французский народ, а лишь один Наполеон. Но и этот урок благородства, данный царём и его войском, не переменял у французов тона: русские остались в их бытовом сознании – *варварами*...

Гейр Хетсо пишет:

«Несмотря на большой интерес, проявляемый французами к русской литературе, несмотря на то, что Баратынский уже с середины 1820-х годов был известен во Франции как один из русских “litterateurs distingues” <отличных писателей>, несмотря на то, что некоторые из его стихотворений были уже переведены на французский язык, нам не удалось найти у французских поэтов ни одного высказывания о Баратынском. Показательно, в частности, что Проспер Мериме, большой ценитель русской поэзии, не упоминает Баратынского в своих многочисленных письмах, относящихся к тому времени. Анри Монго с сожалением констатирует, что мы ничего не знаем о том впечатлении, которое произвела на Мериме встреча с Баратынским <...>».

Разумеется, скромный по натуре поэт попросту не мог «выказывать» себя, но очевидно и другое: для «большого ценителя русской поэзии» эта встреча была не больше, чем банальный эпизод его светской жизни. Не оттого ли чуткий и проницательный Боратынский, понимая такое отношение к себе, был в парижских салонах не более, чем «холодным наблюдателем» (как он сам себя определил в одном из писем к Путятам).

Сиркурам искренне хотелось представить стихи Боратынского парижскому читателю: граф уговорил поэта перевести что-то из своих произведений на фран-

цузский язык. Боратынский выполнил эту просьбу, но с одним условием: ни в коем случае не отдавать его переводы в печать, как того желал граф де Сиркур. Конечно же, для поэта было совершенно неприемлемо самому выступать «пропагандистом своего слова»: таковым он никогда не был и в России. К тому же свои стихи он переложил прозой. Всё это, конечно, было сделано из признательности к Сиркурам и предназначалось как бы «для внутреннего пользования».

Интересен выбор Боратынского: это были лирические пьесы разных лет: «Порою ласковую фею...», «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова...», «Старательно мы наблюдаем свет...», «К чему невольнику мечтания свободы?..», «Рифма», «Чувствительны мне дружеские пени...», «На смерть Гёте», «Последний поэт», «В дни безграничных увлечений...», «О верь, ты, нежная, дороже страсти мне...» и другие, а также совсем «свежее» стихотворение «Когда, дитя и страсти и сомненья...». Перевёл он и несколько эпиграмм...

Со своими парижскими соотечественниками Боратынский в отличие от французских писателей сошёлся куда как теснее. Н. М. Сатин писал к Н. Х. Кетчеру в марте 1844 года: «<...> Вне нашего маленького кружка из русских мы довольно сблизилась здесь с Ев. Баратынским и нашли в нём тёплую живую душу <...>».

Молодые русские эмигранты видели в нём друга декабристов и чуть ли не борца с царской тиранией. «Он жаждал дел, он нас сзывал на дело...» – позже написал Сатин в своём стихотворении памяти Боратынского. А в письме к Н. Огарёву воскликнул: «Все люди, в которых есть жизнь, идут к нам и отказываются от своих современников <...>. В прошедшем Барат.<ынский>, ныне Мельгунов». Конечно, эмигрантская молодёжь по горячности своей выдавала желаемое за действительное: Боратынский в Париже отнюдь не поменял свои умеренные политические взгляды на радикальные. Просто на чужбине его тянуло к русским, тем более к молодым литераторам, которые ему явно сочувствовали: всем этим он был весьма обделён в Москве. В одном из писем к Путятям он признаётся: «Наши здешние знакомые нам показали столько благоволенности, столько дружбы, что залечили старые раны».

Старший сын поэта, Лев Евгеньевич, впоследствии вспоминал, что отец был очень доволен поездкой в Париж, всё время находился в бодром, весёлом и жизнерадостном настроении. А на прощание дал обед русским эмигрантам, во время которого говорили в основном об *уничтожении крепостного права*: «Присутствовали, между прочим, Сазонов и Иван Головин, произнесший на тему об эмансипации крестьян чрезвычайно эффектную и красноречивую речь».

Эта тема давно волновала Боратынского. Н. Путята и П. Кичеев свидетельствуют, что поэт постоянно думал об освобождении крестьян и это было его «задушевной идеей». Хорошо зная жизнь на селе, Боратынский отвергал резкие перемены, которые, по его мнению, могли вызвать только разорение крестьянского хозяйства и обнищание народа. Он был сторонником разумных, глубоко обдуманных реформ...

С приходом весны Боратынские собрались в дорогу. В канун отъезда из Парижа поэт писал к Путятям:

«Мы едем из Парижа с впечатлениями самыми приятными. <...> Здесь нам дали рекомендательные письма в Неаполь, Рим и Флоренцию. Там, как здесь, мы можем, если захотим, познакомиться с обществом; но, кажется, мы на это не найдём досуга. <...> Мы едем на Марсель; оттуда, морем, прямо в Неаполь,

а потом сухим путём в Рим и проч. И воротимся в Россию через Вену. Я с вами увижусь, богатый воспоминаниями всякого рода. Я уставал от парижской жизни, но теперь, прощаясь с нею, доволен прошедшим. Перестал к вам писать собственно о Париже, потому что всякий день мнение моё изменялось. К тому ж надобно родиться в Париже, чтоб посреди его требований и рассеяний находить досуг для мысли и для письменного выражения <...>».

### Солнце Неаполя

Четыре дня они катили на юг в дилижансе по зелёной и цветущей земле Франции. Тряско, муторно порой, но до чего же радостно глазу! Ровные ухоженные поля, сады, виноградники; каменные, крытые красной черепицей дома, нарядные харчевни, силуэты старинных замков вдалеке...

И вот лазурь Средиземного моря, пёстрый марсельский порт. Пришлось ждать пироскаф – новое морское чудо, бегущее по волнам не столько с помощью паруса, сколько силой огня, пара. Этого *парохода* (впрочем, слова ещё не придумали) всё нет, однако путешественники так устали, что промедление им даже приятно...

До Неаполя плыли по морю целых три дня.

Первое письмо с берегов Неаполитанского залива – к Путятам – Боратынский начинает столь неуклюжим торжественным слогом, будто его всё ещё раскачивает на палубе:

«<...> как на крыльях перенеслись мы из сложной общественной жизни Европы в роскошно-вегетативную жизнь Италии – Италии, которую за все её заслуги должно бы на карте означать особой частью света, ибо она в самом деле ни Африка, ни Азия, ни Европа <...>».

Однако дальше слог его твердеет:

«Наше трёхдневное мореплавание останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний. Морская болезнь меня миновала. В досуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днём и ночью на волны. Не было бури, но как это называли наши французские матросы: *tres gros temps* <крепкая погода>, следственно, живость без опасности. В нашем отделении было нестраждущих один очень любезный англичанин, двое или трое незначущих лиц, неаполитанский *maestro* музыки, Николинька и я. Мы коротали время с непринуждённостью военного товарищества. На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не было не только московского, но и парижского света. На корабле, ночью, я написал несколько стихов, которые, немного переправив, вам пришлю, а вас прошу передать Плетнёву для его журнала <...>».

Ещё в отрочестве, в пажеском корпусе, он грезил морем – видел себя на палубе, посреди бушующей стихии, в солёных брызгах: палят бортовые пушки, идёт яростное сражение, горят вражеские корабли, вот-вот надо бросаться на бордаж и побеждать!.. – всё, что когда-то испытали в своей боевой молодости и его отец, и дядьки-моряки, ставшие адмиралами...

Пироскаф, перевозящий пассажиров, конечно, совсем не то – зато море не обмануло: оно прежнее, как в отроческих мечтаниях...

Дикою, грозною ласкою полны,  
Бьют в наш корабль средиземные волны.

Вот над кормою встал капитан.  
 Визгнул свисток его. Братствуя с паром,  
 Ветром наш парус раздался недаром:  
 Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колёса могучей машины  
 Роют волнистое лоно пучины.  
 Парус надулся. Берег исчез.  
 Наедине мы с морскими волнами;  
 Только что чайка вьётся над нами  
 Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилища,  
 Чайке подобна, вод его птица,  
 Парус развив, как большое крыло,  
 С бурной стихией в томительном споре,  
 Лодка рыбацья качается в море, –  
 С берегом набережное скрылось, ушло! <...>

Какая энергия и одновременно какая вольная, крепкая нега в этом дактиле!.. А ведь Боратынский, видно, и впрямь был предназначен для морской службы, как его отец со своими братьями. Недаром же во все три дня качки морская болезнь обошла его стороной, как и девятилетнего сына Николеньку... По всему видно: море – его родная стихия. В стихах – прерывистое радостное дыхание, живое волнение, порывами бьётся в них крепкий ветер...

Много земель я оставил за мною;  
 Вынес я много смятенной душою  
 Радостей ложных, истинных зол;  
 Много мятежных решил я вопросов,  
 Прежде чем руки марсельских матросов  
 Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога  
 В область свободную влажного бога;  
 Жадные длани я к ней простирал.  
 Тёмную страсть мою днесь награждая,  
 Кротко щадит меня немочь морская,  
 Пеною здравия брызжет мне вал! <...>

Чудные стихи! Изумительно ясные, мужественные, сильные, здоровые.  
 Давно не было у Боратынского такого подъёма чувств, такого вдохновения,  
 такой крепости в душе!..

Нужды нет, близко ль, далёко ль до берега!  
 В сердце к нему приготовлена него.  
 Вижу Фетиду: мне жребий благой

Емлет она из лазоревой урны:  
Завтра увижу я башни Ливурны,  
Завтра увижу Элизий земной!  
(Апрель 1844. Средиземное море)

Блаженная райская страна – *Элизий земной* – чудится поэту: бессмертная не-реида Фетида достаёт ему из лазоревой урны Средиземноморья *жребий благой*, желая подарить бессмертие.

Но мифические образы говорят и сами за себя. *Элизий* – в переводе: поле прибытия – недаром означает и загробный мир, где пребывают в блаженстве праведники. Небесную страну отделяет от земной лишь лёгкая черта окоёма. Эта зыбкая грань почти неразличима: то ли небо погружается в лазурные волны и землю, то ли море и суша впадают в синее небо.

Мифическая, божественная италийская земля!..

Боратынский, подчиняясь её дыханию, невольно слагает в письме к друзьям стихотворение в прозе:

«Вот Неаполь! Я встаю рано. Спешу открыть окно и упиваюсь живительным воздухом. Мы поселились в Villa Reale, над заливом, между двух садов. Вы знаете, что Италия не богата деревьями: но где они есть, так они чудно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так ярко-зелёный, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья. Вот проснулся город: на осле, в свежей зелени итальянского сена, испещрённого малиновыми цветами, шажком едет неаполитанец полуголый, но в красной шапке; это не всадник, а блаженный. Лицо его весело и гордо. Он верует в своё солнце, которое никогда его не оставит без призрения. – Каждый день, два раза, утром и поздно вечером, мы ходим на чудный залив, глядим и не наглядимся. На бульваре Chiaja, которого подражание мы видим в нашем московском, несколько статуй, которые освещает для нас то итальянская луна, то итальянское солнце. Понимаю художников, которым нужна Италия. Это освещение, которое без резкости лампы выдаёт все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь под этим дивным небом. Здесь, только здесь, может образоваться и рисовальщик и живописец. – Мы осмотрели некоторые из здешних окрестностей. Видели, что модно видеть, в Геркулануме; были в Пуццолле, видели храм Серапийский; но что здесь упоительно, то это внутреннее существование, которое дарует небо и воздух. Если небо, под которым Филемон и Бавкида превратились в деревья, не уступает здешнему, Юпитер был щедро благ, а они присноблаженны <...>».

И всё же в его сердце уже закралась тревога: ещё на море к жене Настеньке воротились её «нервические рюматизмы с постоянною болью в желудке», – а малейшее недомогание супруги поэт переживал вдвойне сильнее.

Конечно же, в Неаполе он сразу озаботился лечением Настасьи Львовны: по рекомендации княгини Волконской, нашли одного из лучших докторов и тот предписал морские ванны и местную железную воду.

Вскоре всё наладилось, и Боратынские зажили «самой сладкой жизнью». Вблизи моря жара отнюдь не досаждала – «<...> в России иногда бывает удушнее»; настроение вновь поднялось. «Весёлый нрав неаполитанцев, их необык-

новенная живость, беспрестанные катанья, процессии, приходские праздники с феерверками, всё это так ярмарочно, так безусловно весело, что нельзя не увлечься, не отдаться детски преглупому и пресчастливому рассеянию, – писал Боратынский Путятам. – Мне эта жизнь отменно по сердцу: гуляем, купаемся, потеем и ни о чём не думаем, по крайней мере, не останавливаемся долго на одной мысли: это не в здешнем климате».

Вместе с детьми они посетили живописные окрестности Неаполя: Баию, Помпею, Кастелламаре, Амальфи, Салерно и, наконец, Сорренто, откуда родом был Тассо, один из любимейших поэтов Боратынского. «Теперь неделя наша проходит для детей в уроках, а каждое воскресенье мы делаем *une partie de plaisir* <приятную прогулку>, осматривая здешние церкви, дворцы и замки, или просто едем за город в какую-нибудь деревушку».

Боратынских опечалило лишь одно – известие из России о кончине отца Николая Путяты: «<...> мы не могли читать последнего вашего письма без содрогания, думая о том, что вы претерпели <...>». Да ещё поэт озаботился оставленными делами: срочной уплатой в Опекунский совет по тамбовскому имению и долгом одной барыне, чем попросил заняться своего друга.

Так, в полном отдыхе и счастья прошли май и июнь.

Боратынские жили уединённо в своей квартире в *Vico Carminello a Chiaia* с прекрасным видом на Неаполитанский залив; почти ни с кем не общались, за исключением нескольких русских семей, своей давней московской знакомой, княгиней Зинаидой Волконской, и художника Александра Иванова.

К тому времени поэт окончил стихотворение, которое, возможно, задумал и начал ещё на пироскафе, когда вспомнился ему отец, детство в Маре, и славный его дядька, Джьячинто Боргезе, который столько рассказывал о лучезарной стране Италии...

С письмом к Путятам, по-видимому посланным в конце июня, Боратынский отправил два стихотворения: «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу»: поручил отдать их Плетнёву «для его журнала».

Пространный монолог памяти своего воспитателя написан с редкой свободой, – не иначе как лазурные морские просторы, вольный чистый воздух да мягкое благодатное итальянское солнце надышали поэту его мерный слог, щедрые переливы интонации и благородную полноту зоркого и одухотворённого воспоминания.

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,  
 Янтарный виноград, лимон её золотой  
 Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,  
 И в край, суровый край, снегами покровенный,  
 Приставший с выбором загадочных картин,  
 Где что-то различал и видел ты один!  
 Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций,  
 Где брату вашему всех меньше спекуляций.  
 Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты  
 В глушь севера тебя привлечшие мечты;  
 Зато воскрес в тебе сей ум, на всё пригодный,  
 Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный! <...>

Поэт вспоминает «благодать нерусского надзора» своего дядьки, обернувшийся за долгих двадцать лет сердечной привязанностью, совместные прогулки по Москве, когда познакомился со всеми в древней столице «макаронщиками», – и вновь видится ему отрочество в родном поместье:

Ты полюбил тебя призревшую семью  
И, с жизнью её сливая жизнь свою,  
Её событиями в глуши чужого края  
Былого своего преданья заглушая,  
Безропотно сносил морозы наших зим;  
В наш краткий летний жар тобою был любим  
Овраг под сению дубов прохладовейных.  
Участник наших слёз и праздников семейных,  
В дни траура главой седой ты поникал,  
Но ускорял шаги и членами дрожал,  
Как в утро зимнее порой, с пределов света,  
Питомца твоего, недавнего корнета,  
К коленам матери кибитка принесёт  
И скорбный взор её минутно оживёт. <...>

Тенью мелькает в этих стихах сам поэт, зато ясно очерчен скорбный лик маменьки в мгновение встречи.

Но тут же стих преобразуется: на смену приглушённого голоса памяти приходит звонкий, торжественный глас истории:

Но что! радушному пределу благодарной,  
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!  
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра  
Имел ты на устах от утра до утра.  
Именовал ты нам и принцев и прелатов  
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатом,  
Входящих вопреки тех пламенных часов,  
Что, по твоим словам, со стогов гонят псов,  
В густой пыли побед, в грозе небритых бород,  
Рядами стройными в классический твой город;  
Земли, где год спустя тебе предстал и он,  
Тогда Буонопарт, потом Наполеон,  
Минутный царь царей, но дивный кондотьери,  
Уж жидущий свои гигантские потери.

Скрывая власти глад, тогда морочил вас  
Он звонкой пустотой революционных фраз <...>.

Никакой «очарованности» Наполеоном, образом которого были так увлечены последователи романтизма, – не беглецом ли Джьячинто был сызмалу внушён этот трезвый взгляд на «минутного царя царей»?..

Поэт добродушно усмехается над былым гневом своего дядьки, который был вынужден когда-то нести «контрибуцию» корсиканцу и навек потерял всё своё

богатство – серебряные ложки. Малый, трагикомический эпизод истории!.. Но он позволяет вспомнить и «большую» историю: опалу и кончину «на битвы не усталого» Суворова, испутившего дух «в картечи эпитаграмм»; смерть самого «злодея» на «скале пустынной»...

Боратынский не судит – никого и ничего.

Что это было? – словно бы спрашивает он. И даёт ответ:

«<...> то ли благо, то ли зло»...

Вот и свидетель этих исторических бурь, его дядька, опочил – и его «<...> итальянский гроб в ограде церкви нашей». А воспоминание – живо:

А я, я, с памятью живых твоих речей,  
Увидел роскоши Италии твоей:  
Во славе солнечный Неаполь твой нагорной,  
В парах пурпуровых, и в зелени узорной,  
Неувядаемой; амфитеатр дворцов  
Над яркой пеленой лазоревых валов;  
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,  
Священную поднесь Камены суеверу,  
Где спит великий прах властителя стихов,  
Того, кто в сей земле вулканов и цветов,  
И ужасов, и нег взлелеял Эпопею,  
Где в мраке Тенара открыл он путь Энею,  
Явил его очам чудесный сад утех,  
Обитель сладкую теней блаженных тех,  
Что, крепки в опытах земного треволнения,  
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья. <...>

Древняя и вечно юная красота *Элизия земного* сливается в его воображении с божественной красотой вечности, – и эта вечность притягивает с влекущей силой:

Неаполь! До него среди садов твоих  
Сердца мятежные отыскивали их,  
Сквозь занавес веков ещё здесь помнят виллы  
Приюты отдыхов и Мария и Силлы;  
И кто, бесчувственный среди твоих красот,  
Не жаждал в их раю обрести навес или грот,  
*Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,*  
*Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги,*  
*Но чтоб незримо слить в безмыслии златом*  
*Сон неги сладостной с последним, вечным сном <...>.*  
(курсив мой. – В. М.)

Боратынский знать не знал, что пишет своё последнее стихотворение. Сам стих угадал то, о чём он даже не подозревал... Стихи, они говорят больше, чем знает поэт.

## Строгий рай

Всё случилось почти мгновенно – чуть ли не в один день...

Вот что известно о том роковом событии.

28 июня Настасья Львовна почувствовала себя плохо. Её мучила боль. Боратынский бросился к жене, проверил пульс. Нашёл его таким, что страшно испугался за её жизнь... Он испытал глубокое нервное потрясение... Ночью ему стало плохо...

29 июня (11 июля) 1844 года, в четверть седьмого утра, в Неаполе, поэт Евгений Абрамович Боратынский скончался.

Николай Путята позже написал: «Жена его была больна, и накануне доктор настаивал на необходимости пустить ей кровь. Это так встревожило Баратынского, что к ночи он сам занемог, а на другой день рано утром его не стало».

Пётр Плетнёв описывает эту странную смерть несколько подробнее:

«Накануне Русского праздника святых Петра и Павла занемогла жена Баратынского. Доктор советовал, чтобы ей открыть кровь – и когда муж удивился, что надобно употребить эту сильную меру в припадке по-видимому обыкновенном, то доктор объявил, что иначе может последовать воспаление в мозгу. Слова его так встревожили Баратынского, что он сам почувствовал лихорадочный припадок, который ночью усилился. На другое утро, прежде, нежели доктор успел явиться к своим больным, Баратынский скончался скоропостижно».

И Путята, и Плетнёв, бывшие далеко от места события, писали это в основном со слов самой Настасьи Львовны Боратынской: она буквально через несколько часов после смерти мужа отправила письмо в Россию – Николаю и Софье Путятам.

Впервые её письмо, писанное по-французски, опубликовал Гейр Хетсо в своей книге о Боратынском в 1973 году. Вот его полный перевод на русский язык (прежде по-русски печатались лишь выдержки):

«Верю, надеюсь, что господин Устинов исполнит несчастную комиссию передать вам моё письмо, после чего вы будете уведомлены о кончине Евгения. Боюсь, как бы он не отправил письмо, прежде чем увидит вас, сейчас я его ожидаю и написала вам, чтобы вы прочли хотя бы несколько слов о том, что у нас здесь произошло. Обещают перевезти его тело на корабле осенью, но мы уедем как можно раньше и вернёмся самым кратким путём. В данный момент я чувствую себя в порядке, хотя только что оправилась от болезни; доктор хотел мне пустить кровь, а так как мы этому воспротивились, он сказал, что боится, как бы это не обернулось воспалением в мозгу, и это так испугало Евгения, что, даже будучи успокоен, он испытал потом нервное потрясение; ночью у него жутко разболелась голова и разлилась желчь; слабительные, которые он принял, не подействовали, вместо очищения его рвало желчью, и как нарочно я не была встревожена; мы ожидали доктора для меня в семь утра, но в шесть часов с четвертью всё было кончено, несмотря на кровопускание, потому что кровь не текла. Вы можете быть уверены, что я позабочусь о своём здоровье, мой самый великий ужас – это умереть и оставить детей одинокими, я позабочусь о своём выздоровлении и постараюсь уехать, как только это станет возможно, не позже чем через неделю. Да хранит вас Бог, что мне ещё добавить, молитесь за нас.

11 июля, в тот же день.

Возьмите на себя труд сообщить всё моей свекрови, написав Сергею. Я не в состоянии им писать».

Адрес на конверте был написан по-русски: «Его Высочеству Николаю Васильевичу Путяте. В Коломне, за большим театром против Никола Морского. Дом Плеске».

Сумбурные, не слишком связные слова, писанные в горячке боли от страшной потери...

\* \* \*

Смерть всегда неожиданна, особенно если приходит вдруг, среди видимого благополучия и, более того, на взлёте настроения, душевных и творческих сил.

Занемогла жена – но умер муж.

Почему так случилось, в общем-то никто толком не понял.

Ну, хворал, как-то резко в последние годы постарел (Н. Сатин в посмертном стихотворении даже назвал сорокачетырёхлетнего Боратынского «старцем»). Не лечился, нимало не заботился о себе...

Наверное, поэта можно было спасти, но в нужный момент доктора рядом не оказалось...

Припомнили потом, что перед самым отъездом из Парижа Боратынский сильно простудился, и лекарь не советовал ехать в знойную страну, опасаясь, что резкая перемена климата опасна для его здоровья.

Что эти опасения для того, кто был уже совсем рядом с блаженной Италией, о которой мечтал с детства; кто по дороге к ней впервые плыл по морю, о чём грезил юношей; кто написал на корабле удивительные, новые для себя, полные радости и жизни стихи!..

...Диагноза нет.

Можно, конечно, вспомнить, что и отец Боратынского, Абрам Андреевич, на которого так походил сын, скончался в точно таком же возрасте... Но кто же тогда думал о влиянии наследственности? Да и только ли в ней было дело?

Впрочем, *диагноз* всё же есть. Да и всегда был – по всей жизни Боратынского, с самых молодых его лет.

*Слишком сильно чувствовал...*

*Слишком много и глубоко думал...*

*Слишком остро переживал...*

И в своей жизни, и в своей неожиданной кончине Боратынский был и остался – *поэтом*.

## ЭПИЛОГ

Подобно его жизни, год от года умолкающей, тишающей, – негромкой была и кончина Евгения Боратынского, самого *негромкого* гения русской поэзии...

Как отозвались современники на эту трагическую новость?

А. И. Тургенев писал к П. А. Вяземскому: «От графа Протасова узнал я подробности о болезни и смерти Боратынского. Можно было спасти кровопусканием. Доктор не настоял; другого призвали уже после смерти к жене».

Частное письмо... да и всё уже, в передаче, не точно...

Смерть – тайна; и даже доктора в ней не очень понимают, тем более люди со стороны.

На российские сумерки пала итальянская ночь...

Николай Языков – брату Александру в Симбирск: «Горестное известие! Из Петербурга пишут, что Боратынский умер в Неаполе. Горестная судьба талантов в России! – все они губятся как-то не в своё время, до времени и Бог знает как!»

Это чуть ли не всё, что было в тогдашней переписке...

Появилось в печати несколько немногословных некрологов. Всех проникновеннее и мудрее сказал своё памятное слово Иван Киреевский...

Пётр Плетнёв горевал, что Боратынский умер в такой момент, когда только почувствовал, «<...> что ему можно начать жить».

Действительно, всё было подготовлено для новой жизни: налажено хозяйство, построен дом, в Петербурге ожидал журнал «Современник». Да и три стихотворения, написанные за рубежом («Когда, дитя и страсти и сомненья...», «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу») говорят, что его поэзия вот-вот могла перейти в новое качество. Но более всего красноречивы последние письма: в Боратынском появились новые мысли и убеждения, зарождалась небывалая энергия...

«Он довольно написал, чтобы его имя и сочинения всегда оставались украшением Русской Литературы, – заключал Плетнёв. – <...> И кто близко и хорошо знал Боратынского, тот без сомнения не без грусти задумается о надеждах, навеки нами утраченных».

Однако «близко и хорошо знавших» было – единицы...

*Критика* – сохранила молчание; у Белинского не нашлось ни слова. Для критиков Боратынский уже давно был «вчерашним днём».

*А читатель* – безмолвствовал...

...В те роковые дни жил в Неаполе русский художник Александр Андреевич Иванов, автор знаменитого полотна «Явление Христа народу». С Боратынскими он был едва знаком, но посочувствовал горю вдовы и детей сильнее всех других тамошних соотечественников.

В. И. Штернберг писал в те июльские дни: «Иванов очень занят. Недалеко от нас умер Боратынский, известный поэт, и оставил жену и трёх детей, дочь 18-и и двоих сыновей, один 14-и, другой 8-и лет; люди – добрые, никого не имеют знакомых. Иванов случайно с ними познакомился и теперь утешает сирот и вдову. <...> Впрочем, жаль очень этих добрых людей, особенно мать: совершенно убита горем».

Александр Иванов проявил к ним искреннее участие. Даже приютил их под своим кровом, поскольку они не в силах были оставаться в квартире, где произошла такая страшная беда...

Сам художник, в том же июле, писал к отцу:

«<...> Но сии последние дни более всего меня занимала скоропостижная смерть нашего славного поэта Боратынского. Вдова с семьёю детьми, не имея никого знакомых, заставила меня отдаться всею душой этому делу. <...> Посмотрев на усопшую красивую голову нашего поэта, я узнал у рыдающих,

что нет в России хорошего портрета, и тотчас велел сформовать маску, чтобы заказать бюст в Риме. Или я дам форму, с советом адресоваться в Академию Художеств для слепков с неё; хорошо, если бы вы постарались направить её к самому мастеру, и к какому-нибудь из работников».

Иванову очень хотелось, чтобы бюст поэту вылепил «лучший скульптор по этой части» американец Гирам Паверс, но по разным причинам эта идея осталась неосуществлённой.

Художник хлопотал и о том, чтобы поместить в церкви гроб с телом поэта. В неаполитанском храме «греко-униатов» отказались принять прах православного. Лишь лютеранский священник разрешил дело: гроб с телом Боратынского поставили на кладбище под названием *Cimitero Britannico di S. M. a la Fede*, где он и пробыл до отправления на родину.

По возвращении в Россию Настасья Львовна с детьми не смогла жить в Мураново; дом на время опустел. Как-то через год приехал в Москву Николай Путята, и они вместе посетили усадьбу. Путята писал к жене Софье, младшей сестре Настасьи Львовны: «<...> тут всё напоминает покойного Евгения. Всё носит свежие следы его работ, его дум, его предположений на будущее. В каждом углу, кажется, слышим и видим его. Я не мог удалить из памяти его стиха:

Тут не хладел бы я и в старости глубокой!

Я не пишу тебе о том, что должна была чувствовать Настасья Львовна. Её печаль так глубока, так истинна, что я смотрю на неё с каким-то благоговением, не смея говорить с ней, не смею даже замечать её <...>».

В августе 1845 года, через год и два месяца после смерти Боратынского, кипарисовый гроб с его останками перевезли морем из Неаполя в Петербург.

Похороны прошли в пятницу 31 августа 1845 года на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Они были немногочисленны. Плетнёв писал Гроту: «<...> Кроме семейства, родственников (Путят с жёнами) и домочадцев, были следующие литераторы: князь Вяземский, князь Одоевский (с женой), граф Владимир Сологуб – и только».

Боратынский упокоился близ Крылова, Гнедича и Карамзина.

Вдовой был воздвигнут памятник, где изображены в медальоне черты лица Боратынского и две его строки – из стихотворения «Отрывок»:

В смиренности сердца надо верить  
И терпеливо ждать конца.

...Эта смерть на чужбине... кипарисовый гроб, плывущий морем в отчие пределы... и, наконец, упокоение в родной земле...

Двумя десятилетиями раньше нечто подобное случилось с Байроном, жившем в Италии и умершем в Греции.

В последней строфе своего последнего стихотворения «Дядьке-итальянцу» Боратынский вспомнил судьбу английского поэта. Стихи оказались пророческими, они словно бы – о самом себе:

О тайны душ! Меж тем как сумрачный поэт,  
Дитя Британии, влачивший столько лет  
По знойным берегам груди своей отравы,  
У миртов, у олив, у моря и у лавы,  
Молил рассеянья от думы роковой,  
Владеющей его измученной душой, –  
Напрасно! (Уст его, как древле уст Тантала,  
Струя желанная насмешливо бежала).  
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес  
Метелью полгода скрываемых небес,  
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых!  
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых!  
Лелей по-своему твой подземельный сон,  
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,  
Не хуже веющий забвеньем и покоем,  
Чем вздохи южные с душистым их упоем!

Всё верно: *Элизий земной*, он не на чужбине – на родине...

